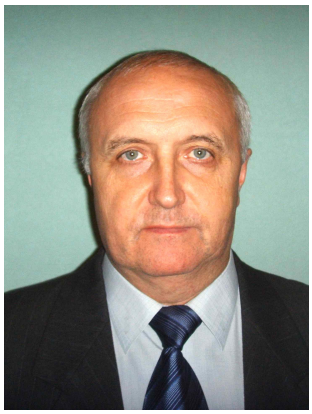
ВОЙНА И МИР В АНТОЛОГИИ РАССКАЗА



Владимир Сапожников
(г. Тула)

ЗНАХАРЬ

Он запомнился мне таким. Солнечный, голубоглазый летний денек. Мы с братом, жившие в соседнем селе, быстро, по еле заметным в траве полевым тропинкам пробежали полтора-два километра, перешли в брод небольшую, мелководную речушку, и, поднявшись на косогор, оказались на подзаросшей бурьяном улице тихо умирающей деревни, где жил наш прадед.

За невысокой оградой его приусадебного участка тут же увидели и самого нашего предка, которого называли не прадедом (неудобно как-то!), а дедушкой Егором.

Среднего роста, полноватый, с седой непокрытой головой, в холщовой рубахе навыпуск, он возился возле пчелиного домика — качал мед. Все его открытое, широкоскулое, с большими добрыми голубыми глазами лицо, жилистые руки, рубашка были облеплены десятками жужжащих, ползающих пчел. Видно, они уже давно перестали его жалить, или его организм перестал реагировать на их укусы. Увидев нас, дедушка распрямился, улыбнулся:

— О, внучки пришли проведать старика!.. Заходите в дом, там открыто, бабушка вас пока угостит чем-нибудь... Я сейчас закончу и подойду...

Супруга деда (четвертая по счету, предыдущие умерли по старости или от болезней), которую мы звали «бабушкой», несмотря на то, что, как я узнал повзрослев, ей было сорок три года, когда она вышла замуж за нашего в то время более чем девяностолетнего прадеда, шустро орудовала ухватом в русской печи, извлекая из ее дышащего теплом нутра духмяный ржаной свежеиспеченный хлеб. Мы знали, что дедушка Егор всегда ел только домашний, приготовленный из муки, перемолотый из ржи, выращенной на собственном огороде, хлеб. Продаваемым в магазине он брезговал.

Бабушка усадила нас за стол в горнице. Дала каждому по большой алюминиевой ложке, поставила посредине стола хлеб, пустую миску.

— Сейчас дедушка угостит вас свеженьким медком с пасеки, подождите пока, ребятки...

Горница нам казалась просторной. За печкой виднелась дверь, ведущая в спальню. У входной двери стоял большой полированный комод, рядом — такой же объемный старинный шкаф. Дедушка рассказывал, что эти две вещицы ему передал стар-

ший брат перед тем, как в двадцатом году сбежал в Польшу. До этого он жил в городе Белом, владел заводом, магазинами. В начале двадцатых активно участвовал в эсеровском мятеже, когда восставшие за ночь вырезали всех большевиков. Но сила была за ними, и дедов брат укрылся от их мести в соседней стране, где его следы в дальнейшем и затерялись...

В углу горницы висели старинные образа, иконы. Мигала, порой испуская тонкую струйку копоти под потолок, лампадка. С икон на нас с братом внимательно и изучающе смотрели покрытые вековым желтоватым налетом лики святых.

Из сеней донеслись как всегда быстрые звуки дедовых шагов. И вот он уже входит с неизменной улыбкой в избу, ставит на пол у входа двухведерный бидон, наполненный до краев жидким, светло-желтым медом с плавающими по его поверхности немногочисленными обломками восковых пчелиных сот.

— Вот сейчас попробуем свежий медок,— и дедушка наполняет до краев большую миску, возвращает ее на стол. Крестится на образа, негромко произносит короткую молитву и садится рядом с нами.

— Плесни-ка внукам молочка козьего,— просит он супругу, и та из темно-коричневого глиняного горлача наливает всем в кружки густое козье молоко. Последние годы (дедушке все-таки исполнилось пару лет тому сто!) Егору Прокофьевичу стало уже тяжеловато накашивать сено для коровы, и он продал свою буренку, но купил козу. Та с божьей помощью оказалась на редкость плодовитой (я сам был свидетелем, как она родила одного за другим десять(!) козлят) и молочной.

Мне нравилось по вкусу козье молоко, а вот брату — нет, и он всегда отодвигал свою кружку незаметно мне.

Большими столовыми ложками мы бойко уплетали свежий вкуснейший медок вперемежку с краюхами такого же вкусного, теплого ржаного хлеба. Я и дедушка запивали все это лакомство молоком. Заметив, что брат не притрагивается к молоку, бабушка принесла из сенцов ему кружку хлебного кваса. Сама она почему-то не ела, прислонилась слегка к нашему предку сзади, ласково провела ладонью по его седым волосам, счастливо улыбнулась:

— Кушай, Егор Прокофьевич, на здоровье... Мой дедушка хороший...

Трапеза подходила к концу, бабушка уже убирала со стола опустевшую посуду, когда в дверь кто-то осторожно постучал.

— Кто там? Заходи! — пригласил дедуля. Дверь в горницу отворилась, и на пороге вырисовалась стройная фигура молодой девушки лет двадцати трех. Все в ней было прекрасно: и ниспадающие на плечи шелковистые русые волосы, и высокая, рвущая блузку грудь, и правильные, славянские черты лица... Если бы не большое бельмо, белой опухолью обезобразившее левый глаз.

— Егор Прокофьевич, я к вам,— и девушка, не выдержав, разрыдалась.— Может, вы мне поможете в моей беде... В НИИ офтальмологии в Москве и Одессе сказали, что бельмо на моем глазу не подлежит операции, слишком большое и быстро выросло... А на меня парни внимания не обращают, как увидят, что я с бельмом — сразу отворачиваются... И надо же было мне стегануть веткой по глазу... Вот судьба-злодейка... Мама к вам направила... Люди ей подсказали, что вы заговариваете разные болезни...

— Ну, не плачь, успокойся, Надюшка... Постараюсь тебе помочь, господь милостив...— прадед бережно взял девушку за вздрагивающее от рыданий плечо, подвел к окну, внимательно осмотрел ее больной глаз.

— Бабушка, дай-ка мне бурачок, у нас там где-то, кажется, есть,— попросил он супругу.

Бурачок, то есть, свекла оказалась в наличии. Предок ловко очистил круглую свеколку, мелко натер ее на терке. Подвел Надю с мокрыми глазами к русской печи.

— Наклони-ка голову пониже, девонька,— и ладонью достал из печи теплую золу, которой посыпал сверху голову девушки, предварительно наклонив ее в печном проеме. Одновременно начал шептать какие-то молитвы. После этого приложил к больному глазу пациентки протертую, кровоточащую красным соком свеклу. Затем обмотал бинтом левую половину лица больной.

— Ну, вот, Надюшка, три дня повязку не снимай. На третий день придешь ко мне,— я сам тебе ее сниму вместе с бельмом. А теперь покрестись со мной на образа...

Девушка, успокоенная и обнадеженная, истово и послушно перекрестилась несколько раз вместе со знахарем и нами.

Через три дня брату понадобилось остаться дома, а я — тогда шестилетний пацан — был свободен и предоставлен сам себе. Поэтому, съедаемый любопытством, порыбачив с утра на пескарей на речке, с удочкой и уловом, болтающимся на сломанной кривой ветке прибрежной лозы, я заглянул к деду Егору. И, как оказалось, вовремя. Только уселся за стол, чтобы традиционно полакомиться медком с козьим молочком, как подошла и дедова пациентка Надя с забинтованным, тревожным от ожидания лицом.

Дед опять нехитро поколдовал над ней, посыпал голову золой из печи, пошептал молитвы.

— Я сейчас сниму повязку и бельма на глазу не будет! — объявил он напряженно замершей девушке. И вот уже повязка снята с лица, и Надя в нетерпении и со страхом смотрит на свое отображение в зеркале на стене.

— Ой! Дедуля, а ведь оно и вправду исчезло! — слышу я ее счастливый голос, и, улыбающаяся во весь рот, она поворачивается лицом к нам. Из ее глаз льются ручейки слез... Слез радости! Бельма-то нет! Исчезло! Я ощущаю, как восторг от понимания, а, скорее — непонимания, почему такое могло произойти, и как,— случившееся чудо переполняет не только Надину, но и мою, детскую душу.

А исцеленная истово падает на колени перед моим столетним прадедом, целует ему руки, рассыпается в благодарностях...

— Егор Прокофьевич, я — ваша должница по гроб жизни... Чем я могу вас отблагодарить? Я принесу все деньги, что у нас есть дома...— говорит избавленная от недуга.

— Э, нет, девонька, денег я не беру... Нельзя мне этого делать, запрещено господом нашим... Успокойся, живи себе, радуйся жизни... Да, осторожно по лесу бегай, не стегани веткой себя по глазу... Да в церковь сходи — свечки поставь за свое и мое здоровье...— дедушка гладит девушку по русой голове, поднимает с колен, улыбается открыто и широко своей белоснежной улыбкой. (За свою жизнь он ни разу не обращался к стоматологам. Поэтому улыбка и была такая по-настоящему «белоснежная». Когда умер в возрасте ста восьми лет по паспорту, многочисленные земляки, пришедшие попрощаться с ним, обратили внимание, что у усопшего все зубы оказались нетронутыми!)

Счастливая пациентка ушла. Дедушка помолился, потом присел на диван, посадил меня к себе на колени, погладил ладонью по голове (я запомнил на всю жизнь, какая у него была теплая, даже горячая ладонь, казалось, что она как-то неестественно излучает колоссальное тепло, передает неизведанную энергию... Видимо, так оно и было).

— Вырастешь большой, займись, Вова, медициной, стань врачом. У тебя получится... Ты — мой внук, моих кровей...— нашептывал он мне.

— Дедушка, а ты научишь меня всему вот этому?..— я затруднился, как правильно назвать его лечебные действия. Не колдовством же обзывать — еще обидится!

— Знахарству? Научу, внучек, научу... Подскажу тебе, как нужно помогать лю-

дям... Главное, что тебе для этого господом нашим жизненная сила дана... А развить ее я тебе помогу, когда подрастешь...

Поздней холодной осенью сорок второго года гитлеровцы, отступая под нарастающим натиском советских войск, нехотя отдавали каждую пядь многострадальной смоленской земли. Уходя, сжигали предприятия, деревни, города, и, конечно, пытались уничтожить партизанские соединения, воевавшие с ними эти два года. Была организована блокада лучшими эсессовскими частями леса, где базировались народные мстители в родных местах моего прадеда.

Партизанам командование отдало приказ — выходить из кольца окружения по одиночке, затаиться, дожидаясь скорого прихода наших войск.

Мой отец — тогда восемнадцатилетний партизанский разведчик после трех суток голодного блуждания по болотам ночью тихо постучал в оконце дедовой избы, что стояла на краю деревни.

В полутьме занавески с той стороны окна дрогнули, створки окна, чуть скрипнув, приоткрылись. Матово засветилась седая голова в то время семидесяти с лишним летнего Егора Прокофьевича.

— Кто тут? — негромко спросил он.

— Это я — Гриша, дедушка,— ответил продрогший отец.

— А, внучок... Сейчас открою дверь, заходи...

И через минуту отец оказался в теплой, натопленной, наполненной знакомыми с детства запахами ржаного хлеба и хмеля горнице.

— Свет зажигать не будем, чтоб полицаи не приметили... Раздевайся, внучок... Голодный небось... Сейчас перекусим...

Дедушка жил один, вторая жена полгода тому назад скоропостижно скончалась.

— Молодец, что не пошел в родительский дом, а пришел ко мне... Твою маму полицаи уже дважды обыскивали. Простреливали в хате пол и потолок из автоматов, искали тебя... А ее ставили к стене и палили поверх головы — запугивали... Так бедная падала в обморок...— рассказывал дед последние деревенские новости, подкладывая внуку на тарелку новые куски теплого, вынутого из неостывшей печи пирога с картошкой.— Ешь, Гриша, ешь, изголодался совсем, отощал... Я тебя спрячу в яме за сараем, под копной соломы... Специально ее вырыл, как узнал, что немцы начали блокаду леса... Сверху яма прикрыта досками и соломой — не догадаешься, что под копной партизанский схорон.Там и отсидишься до прихода наших, тут недолго осталось,— вон как пушки немчуру долбят по линии фронта — день и ночь слышно...

Григорий прислушался, уловил далекий гул, доносившийся со стороны линии фронта даже ночью.

Дедушка тайно отвел согревшегося, насытившегося партизана к схорону. Внук спрыгнул в замаскированную яму, где мышки попискивали на дне в груде заботливо постеленной сухой соломы. Набросил на плечи старый тулуп, разложил рядом с собой автомат с взведенным затвором, три гранаты, мешок с водой и хлебом. В годы оккупации по возрасту Егор Прокофьевич не попал в партизаны, но возглавлял подпольный колхоз, который занимался и снабжением хлебом перебравшихся в лес земляков. Кое-какие неиспользованные запасы оставались к ночному приходу внука.

В схороне Григорий просидел двое суток. По ночам дедушка тайно приносил ему воду и провиант, рассказывал последние новости.

— К матери твоей вчера опять Будыка, гад, с полицаями приходил... Все вверх дном перевернули, угрожали... Я ей про тебя ничего не рассказывал... Не знает — и ей сказать полицаям нечего... Ко мне тоже, тварюги, наведывались, шарили в избе и в сарае... Ты, наверное, слышал их поганые голоса... Простреливали сеновал... Митьку соседского в амбаре нашли... Сразу вывели за село — и порешили парнишку...

Григорий поперхнулся принесенным дедом куском вареной брюквы — с Мить-

кой они были одногодками, вместе бежали из плена из-под Вязьмы, вместе воевали в разведроте отряда «Смерть фашизму».

...На третьи сутки дед пришел к яме ближе к обеду:

— Вылезай, Гринь... Наши на подходе, фрицы и полицаи час тому назад, как собрали манатки, ладно, хоть нас не подпалили в суматохе, и срочно укатили на запад... Пошли в избу, хоть поешь по-человечески, отогреешься...

Плотно пообедав, Григорий залез на теплую русскую печь, расслабился, задремал.

Проснулся от грохота немецких танков, неожиданно въехавших в село с востока. Какая-то отступающая часть догоняла своих. Партизан едва успел соскочить с печи, как под окном зазвучала гортанная немецкая речь, раздались чьи-то нетерпеливые шаги на крыльце дома.

Дедушка прытко открыл крышку люка, ведущего под пол:

— Гриша, прыгай скорей, а то заметят!

Григорий почти кубарем скатился в подполье. Дверца тут же захлопнулась над его головой. В спешке он даже не захватил с собой оружие. И теперь, согнувшись, присел рядом с полинявшей курицей и огненно-рыжим петухом, которых запасливый дедушка, видимо, припрятывал «на развод» до лучших времен.

Над головой прогрохотали тяжелые чужие сапоги.

— Рус Иван, курка, яйки — давай, давай! — обращаясь к дедушке на ломанном русском языке, заговорил с порога нагрянувший нежданный гость.

— Да, что ты, пан, какие курки и яйки — всех перевели за эти два года,— притворно взмолился хозяин дома. — Найн, пан, найн...

В это время курица, сидевшая в подполье рядом с Григорием, неожиданно отряхнула свои запылившиеся перья и... закудахтала...

Партизан замер — если немец услышит, полезет под пол — ему конец!

И голодный фашист услышал зов, возможно, последней сохранившейся в деревне после оккупации глупой птицы.

Фриц с силой дернул за кольцо люка, и в следующее мгновение его налитое кровью, багровое, широкоскулое лицо склонилось над проемом подполья, выискивая взглядом затерявшуюся, обреченно притихшую курицу.

Но вместо курицы немец в упор увидел сжавшегося в комок, готового прыгнуть на врага юношу. Зрачки его глаз зло сузились, он открыл рот, чтобы что-то сказать... И в это время что-то тяжелое обрушилось на затылок немца сзади, отчего брызнула кровь, заливая лицо, и грузный чужестранец мешком рухнул под ноги юноше.

Григорий успел сорвать с плеча падающего автомат, передернул затвор. Руки и ноги поверженного фашиста судорожно дернулись и повисли. Следом за ним дедушка закинул в подпол сразу пропитавшуюся кровью дубовую табуретку, которой и нанес удар. Старик на мгновенье нагнулся к внуку:

— Посмотри, может еще живой?! Тогда добей по-тихому!

Партизан потрогал, перевернул немца на бок — глаза того уже ничего не видели.

— Нет, дедусь, ты его наповал, одним ударом угробил...— прошептал пересохшими губами Григорий.

— Тогда притихни... Авось не хватятся они в спешке... Наши, видно, сильно их поджимают...

Немцы на удачу не задержались в деревне долго и не заметили исчезновения одного из своих солдат.

Когда стемнело, дед с внуком оттащили труп убитого фашиста за околицу села и закопали в вырытую в подмерзающей земле яму...

Егор Прокофьевич подравнял лопатой образовавшийся свежий бугорок земли на могиле. Сдернул пропотевшую шапку с седой головы, перекрестился, беззвучно шевеля губами прошептал короткую молитву.

— Вот так, Гринь, бывает — или они нас, или мы их... Хотел бедняга последней курицей поживиться — но сам нарвался, горемыка... А ведь дома, в Германии его, наверное, мать, отец, а, может, и жена с детьми ждут... А он теперь навсегда остался в русской земле... Судьба, внучок, судьба это...

Серые вечерние тучи холодно затягивали горизонт, дул северный ветер. Неожиданно в воздухе закружили редкие снежинки. Они таяли на разгоряченных лицах старика и юноши, и от этого казалось, что мужчины плачут. Фронтовой гул уже перешагнул через затерянную в лесах смоленскую деревеньку, и доносился со стороны запада...

В восьмилетнем возрасте я тяжело заболел ангиной. Причем обострения возникали чуть ли ни ежемесячно. Моя мама по совету врачей повезла меня в город на операцию по удалению миндалин. В то время начала внедряться методика амбулаторного проведения таких операций. Заодно должны были прооперировать и старшего брата — удалить разросшиеся аденоиды, мешавшие дышать.

И вот мы сидим в коридоре поликлиники под дверью кабинета, куда по очереди заводят детей, и через некоторое время выводят уже прооперированных. Первым зашел в этот страшный кабинет мой брат. Вышел оттуда молча, без слез, но с бледным перепуганным лицом, с окровавленными тампонами, прижатыми к носу. Настала и моя очередь.

— Ну, как там? — боязливо спросил я у брата, подталкиваемый матерью к двери кабинета. Тот только что-то невнятно промычал, кривясь, заглатывая порцию мороженого. Этим пломбиром мама меня собственно и «купила» — обещала после операции, если буду хорошо себя вести, дать целых две порции!

В кабинете меня посадили на колени улыбчивой пожилой медсестре. Вторая женщина в белом халате, стоя за спиной, руками удерживала мои руки.

Доктор — ласковый брюнет с внимательными карими глазами, прикрытыми стеклами толстых очков, объяснял мне:

— Не бойся, мальчик. Больно не будет... Открой пошире рот...

Врач сделал длинной иголкой шприца распирающий небо укол во рту, и после этого начал что-то подрезать там загнутыми, острыми, блестящими специальными ножницами. То ли «заморозка» — новокаиновая анестезия почему-то не подействовала, то ли я неправильно все воспринимал, но вскоре я заорал не своим голосом, рванулся изо всех сил из цепких рук медсестер... Те не удержали, не успели отреагировать... К счастью каким-то чудом врач во время успел выдернуть свои проклятые жуткие ножницы из моего рта.

Кровью, брызнувшей из подраненного горла, были заляпаны стекла докторских очков, его лицо, белоснежный халат.

Меня с трудом втроем поймали у распахнутого окна кабинета, ведущего во двор. Еще чуть-чуть, и я бы сиганул со второго этажа. Рыдающего, кое-как остановив тампонами кровотечение, меня передали матери, вбежавшей в кабинет после моего дикого крика.

Доктор нервно протирал от пятен крови салфеткой свое забрызганное лицо:

— Знаете, я не смогу прооперировать вашего мальчика... Он так необычно прытко реагирует, что нам его просто не удержать... Еще отрежем не то...

В общем, ни с чем, с застрявшим от боли комом в горле пломбиром, меня, недорезанного, увели из поликлиники, привезли домой. Но делать-то что-то надо было. И тогда моя мать — принципиальная коммунистка, вспомнила о знахарских способностях деда Егора, которые она до того по идейным соображениям всегда игнорировала.

На следующий день, засунув мою голову в темный, не совсем остывший проем русской печи, дедушка посыпал мою голову золой и шептал свои загадочные молитвы. Закончив, сказал:

— Все, Вова, до восемнадцати лет у тебя горло болеть не будет...

Так оно и вышло. После дедова лечения ангины быстро прошли. Я не ощущал своего горла до восемнадцати лет. После того, как отметил совершеннолетие, уже будучи студентом второго курса мединститута, тяжело внезапно заболел. Но, пролечившись на дому атибиотиками, с тех пор особых проблем с миндалинами не испытываю.

Прадед никогда не курил, не переносил запаха табачного дыма. Выпивал. В основном по праздникам, предпочитая всем напиткам хлебный самогон, который гнал сам для собственных нужд. Играя в детстве на чердаке его дома, среди зарослей сушившегося хмеля мы часто натыкались на самогонный аппарат с загнутой длинной трубкой змеевика. Употреблял спиртные напитки дедушка следующим образом. Выпивал в любой компании только три раза: это могли быть три рюмки, три стаканчика, три ковша... Но только три. В четвертый раз никогда не прикладывался. Это было его железным правилом, он любил говаривать при этом: «Бог троицу любит».

Постоянно трудился. Все в домашнем хозяйстве делал своими руками: и косил, и плотничал, и шил лучшие в округе сапоги... Кстати, по этой причине в смутные времена гражданской войны и революций, как сам рассказывал, и сменил свою прежнюю фамилию на «Сапожников».

Был очень подвижен. В шестьдесят-семьдесят лет для него не казалось в тягость встать в пять утра, пробежать лесом километров тридцать-сорок до города Белого, там успеть к открытию ярмарки, сделать свои дела, и к обеду вернуться тоже пешком домой, в свою деревню.

За такую особенную подвижность соседи даже прозвали его «Егором-бегунком». Видимо, эта подвижность, легкость на подъем и обеспечила ему поддержание такой хорошей физической формы до глубокой старости...

Прадед за три года до смерти точно предсказал, что умрет он на Пасху. Его не стало в тот год, когда весна выдалась необычно ранней и бурной. Реки вырывались неслыханным разливом из ставших тесными привычных устьев. Все вокруг рано зацвело и зазеленело, когда не стало моего любимого прадеда.

Его похоронили на холме, на деревенском кладбище над излучиной реки среди могил многочисленной родни и земляков. Я думаю, что ему там спокойно. Когда изредка оказываюсь на малой родине, ощущаю, что здесь по-прежнему живет его неугомонный, невидимый, добрый дух. Дух настоящего русского знахаря. Колдуна, если хотите.

Ну, а я выучился на врача. Занимаюсь врачеванием, лечу людей традиционными методами. Единственное, замечаю, что больные дети быстрее выздоравливают, если поглажу их рукой по голове. А сами маленькие пациенты часто признаются, что им кажется, как моя ладонь излучает тепло. Я этому не удивляюсь — кое-чему прадед успел все-таки меня научить, и завещал обязательно использовать эти во многом необъяснимые пока моменты при проведении терапии.

Рудольф Артамонов*
(г. Москва)

ОТВЕРГНУТЫЙ

Я еду в ранней электричке. Малолюдно. Холодно. Может, потому, что голоден. Торопиться некуда. До работы еще целых два часа. Два часа мучительного ничегонеделанья. Читать? Трудно сосредоточиться на пустой желудок. Чтобы убить время, еду от центра. Через полчаса езды пересаживаюсь и еду обратно. Вагон уже наполнился пассажирами, стало теплее. И не так одиноко. Половина спит. Половина смотрит в окно или читает газеты. Пошли торговцы с рук. Занятный народ. Как ни запрещают их «малый бизнес» в электричках, им нипочем. Вижу их каждый день и знаю многих в лицо. Попадаются виртуозы русского языка. «Я вам в карман глубоко не залезу. За такие цены вы будете целовать меня в уста и другие места». Это высокий мужчина с веселым лицом и звучным голосом. «Чай кракоде. Пьют везде. Засадишь стакан и всяк тебе братан». Нескладно. Но и торговец — старый человек. По лицу видно, крепко злоупотреблявший. Говорит свой «слоган» торопливо и невнятно. Наверное, когда-то балагур.

Другие, тетеньки, скороговоркой, высоким голосом профессиональной торговки предлагают всякую снедь. «Пирожки с капустой, картошечкой, мясом — вкусные, тепленькие!»

Очень кстати.

— Мне с капустой и картошкой,— говорю.

Они, в самом деле, «тепленькие» и легко ложатся в пустой, изголодавшийся желудок. «С мясом» покупать избегаю. Кто их знает, что за мясо, кого забили.

Согрелся. Прислонив голову к стенке, дремлю.

Оказывается, приехал раньше шефа. Удача! Надо воспользоваться, пока мы одни. Кажется, он в хорошем настроении. Лицо полное, довольное. Поздоровался первый. «Как спал молодой человек?» «Попроси, попроси! — завертелась в голове шальная мысль. А почему бы и нет? Потом скажу, последовал совету. Если бы только совету! «Иван Федорович, мне бы зарплату немного прибавить...» Большой рот шефа растянулся в широкой улыбке... «И сколько же хочет младший научный сотрудник?» А мне слышалось — «младший ничтожный сотрудник». «Не знаю»,— сказал я. «В два раза устроит?» «Что вы!» — не поверил своим ушам. Надо было бы сказать что-нибудь другое.

Меня толкают в плечо. Открываю глаза.

— Билетик.

Толстая тетка в синем форменном пальто и с ней охранник в фуражке.

Билетик у меня «туда-обратно». Знал, что контролеры ходят пораньше, в расчете,

---

* Наш постоянный автор, доктор медицинских наук, профессор, зав. отделом науки «Медицинской газеты» (г. Москва).

что народ не станет спозаранку стоять в кассу. Спать хочется. Дорога каждая минута утреннего сна. По себе знаю. Но я и так встаю теперь ни свет, ни заря.

«Эх,— думаю,— сон бы да в руку».

Работа... Если вдуматься, разве это работа? Сидит молодой парень, протирает штаны, изучает усадебную культуру Подмосковья. Мураново. Абрамцево. Кусково... Шляется каждый день с экскурсантами. Говорит заученный текст. А сам полуголодный. Как поначалу было интересно. Какие имена! Шаляпин. Врубель. Коровин, Савва Мамонтов... Ведь усадьбы — это, прежде всего, люди. И какие люди! Порой мне даже кажется, что я с ними знаком лично, вхож в их круг, принят, почти что свой. Через Мураново я узнал Тютчева. От первого впечатления чуть не заплакал. А Кусково?! Вся Европа на нескольких гектарах. Итальянский домик, голландский. Швейцарское шале. Эрмитаж... Оказалось, это интересно было только мне...

Сегодня нет экскурсий. И то хорошо. Не надо из себя строить вдохновенного рассказчика. Сегодня совсем не форме. Сказывается недоедание и недосыпание последних дней. Нелегко стоять перед разношерстной публикой. Редко кто слушает заинтересованно. Пожилые — да. Спрашивают, задают вопросы. Другие рассеяно смотрят по сторонам или отходят покурить, когда экскурсия выходит в парк. Это запрещено, но не моя обязанность делать замечания. Молодые девушки порой откровенно тебя рассматривают. Отвлекают. Думают, наверное, «ничего себе, парень, но одет, как лох». А я в день экскурсии надеваю лучшее, что у меня есть.

Раз экскурсии сегодня нет, устраиваю себе укороченный рабочий день. Надо успеть вкусить бизнес-ланч. А то придется жевать бутерброды. Он с двенадцати до пятнадцати. Это главное событие моего дня. О нем думаю с утра и вспоминаю о нем, засыпая. Четыре блюда. Пиршество! Салатик в пиале величиной в две столовые ложки. Суп. Кажется, из пакета. А вот второе бывает разное. Рыба, чаще треска или окунь. «На мясо» котлета, реже пельмени. Хорошо, когда курица. Но лучше всего компот из сухофруктов. Вспоминается детство. Мама варила такой компот. Он очень вкусный когда или горячий, или когда из холодильника. Выпив, вылавливал черносливы, вишенки, сплевывая косточки в блюдце... В этих компотах сплевывать почти нечего — одна, от силы две косточки, не больше. Но сладкий. Т-ца!

Мой ланч длится долго, до самого окончания времени, отведенного на это мероприятие. Уходить не хочется. Все-таки ресторан. Чисто, уютно. Еду подают. Приборы. Салфетки. «Приятного аппетита». Чувствуешь себя человеком.

Мне торопиться некуда. Встаю и медленно направляюсь к выходу. Если погода хорошая, иду в сквер поблизости, усаживаюсь на скамейке и тихо сижу. Хорошо. Весна ранняя, теплая. Деревья покрылись легкой зеленью. Сижу час, два. Разглядываю прохожих и с замиранием сердца чувствую, как постепенно пустеет мой желудок. Почему-то пустеет он сегодня очень быстро. Так мне кажется. Вообще-то раньше вспоминал о еде спустя пять-шесть, а то и более часов после очередного ее поглощения. А сейчас... Впрочем об этом лучше не думать.

Если непогода и холодно, спускаюсь в метро. Больше всего мне нравится Новокузнецкая. Гостиная, да и только. Мраморные диваны. По середине зала торшеры, изливающие мягкий, не надоедливый свет. Ты сидишь, никому не заметный, никто тобой не интересуется. И сидеть так можно сколько хочешь.

Сегодня как раз такая погода — моросит дождь и ветрено. В метро я чаще просто сижу. У меня в руках книжка о древнеримской загородной усадьбе. Занятно, они, древние римляне, знали уже тогда толк в житье за городом. А мы, русские, только, когда Петр II отменил обязательную службу при дворе и разрешил дворянам жить в своих поместьях. Вот тогда-то они и занялись обустройством своих «дворянских гнезд». А потом разночинный люд пристрастился тоже к загородному житью. Возникли дачи. Как хорошо они описаны у Чехова! Конечно, жалкое подобие дворян-

ских усадеб, но все же... А теперь и вовсе — пародия на них за высоким глухим забором. Не усадьба, а тюрьма. Вышек с вертухаями только не хватает.

Сказывается профессия. До таких ли дум сейчас? В моем положении? А думается. Профессия! Интересная и жалкая одновременно.

Закрываю книгу. Взгляд останавливается на молодом парне. Я заметил его боковым зреньем, когда пришел на станцию и уселся на мраморный диван. У него в руках была роза. Всего одна, красная, на длинном стебле. Он стоял, прислонившись к торшеру. Он и сейчас стоит у того же торшера с той же розой в руках. Сколько прошло времени, не знаю, но думаю часа два. Успел прочитать три большие главы книжки. А он все ждет. Надеется. Лицо осунулось. Взгляд беспокойно скользит по лицам прохожих. Их здесь много. Удобно назначать свидания — деловые, любовные. Наверное, есть и такие, как я.

Очередная жертва.

Кто? Он или я? Оба. Я тоже когда-то ждал. Терпеливо и кротко.

Встаю. Сегодня поеду от Алтуфьево до Битцевского парка. Засекал время, около часа. Делаю пересадку на Третьяковскую. Если ехать в сторону Медведково, то, спустившись с короткого эскалатора, слева на стене около пола видно буро-коричневое пятно на белом мраморе. Приметил его давно. Здесь раньше сидел молодой парень. В камуфляже. Без обеих ног. Перед ним лежала солдатская фуражка верхом вниз. Не заметить его было невозможно — сидело полчеловека. Потом он исчез, и тогда там, где он сидел, стало видно это самое буро-коричневое пятно. По ширине оно равняется ширине его спины. Изо дня в день, едучи на работу, я всегда смотрел на это пятно. Сколько пережил и продолжал переживать этот парень, сидя на полу перед фуражкой верхом вниз, что даже белый мрамор не смог остаться безучастным! Интересно, если я сяду на пол справа от эскалатора и положу перед собой кепку и посижу здесь несколько дней, появится такое же пятно на белом мраморе? Нет, наверное. Если от всех, кто сидит у мраморной или какой другой стены с протянутой рукой, на них оставались бы пятна, что-то должно было бы измениться в мире. Или люди стали бы добрее, или, наоборот, ожесточились бы и всех разогнали.

Что за чушь с голоду и холоду лезет в голову.

От Алтуфьева до Битцевского парка час я убил.

Потом еду в центр. Он сильно изменился. Давно просто так, от нечего делать, не гулял по городу. Лет десять назад только, когда был «молодым человеком». А потом работа, дом в спальном районе, библиотека, архивы, экскурсии по Подмосковным усадьбам. А вот просто так, как беспечный гуляка, никогда.

Город не мой. Глаз привык к спокойным линиям дворянских домов, простору приусадебным парков, глади тихих прудов. Здесь даже старинные дома взяты в стекло. Немыслимые, несуразные переделы. Или билдинги, больше похожие на ледяные глыбы с четко обструганными гранями. За огромными витринами магазинов виден немыслимо роскошный, нереальный мир, в котором медленно ходят хорошо одетые люди и в который страшно войти. Банки с выложенным перед ними фигурной плиткой тротуаром. Рестораны с ливрейными швейцарами в дверях. Идут хорошо одетые парни и девушки, беззаботные, красивые... Но вот и здесь, на тротуаре, попадаются нищие. Сидят, прислонившись к гранитным цоколям зданий. Старики и старухи. Даже здесь, в этом роскошном и чужом мире! Для меня всегда нестерпимый укор — седая худенькая старушка с ведром воды и половой тряпкой на палке, убирающая наши кабинеты на работе. Прожить шестьдесят, семьдесят лет и в конец жизни оказаться с половой тряпкой в руках и убирать за молодыми здоровыми мужчинами и женщинами, перекладывающими бумаги на столах!

Захожу в книжный магазин. Огромные площади. Не книги — произведения искусства. Не чета нашим, из позапрошлого века. Но цена, цена!

Здесь тоже убил час. Брал книгу, одну, другую. В интересных прочитывал несколько страниц. Листал книги по искусству, сами произведения искусства. И клал на место.

Не для меня. Мои — это книги совсем другого вида и содержания.

На улице уже смеркается. Засияла реклама. Это красиво. Сверкающий, чужой мир. Иду не спеша. Спускаюсь в метро. Переход от Охотного ряда на Театральную длинный. Здесь часто играют музыканты. Парень или девушка. Парень на флейте. Девушка на скрипке. Перед ними раскрытый футляр их инструментов. Играют хорошо. Хорошую музыку. «Грёзы» Шумана, Листа, точно не помню: то ли «Годы, а может, Время странствий». Что-нибудь из «Лебединого озера». Однажды даже венецианского дилетанта, Альбинони, девушка играла. Потрясающая музыка... Люди стоят около, слушают. Потом кладут деньги в открытые футляры. Я тоже люблю постоять, послушать. Теплее становится на сердце. Только положить в футляр мне нечего... Теперь от центра до Красногвардейской и обратно до Речного вокзала. Еще как минимум полтора часа долой.

Народ возвращается с работы. Люблю всматриваться в лица. Мне кажется, что если знать историю лица, то даже в некрасивом можно найти привлекательные черты. История лица это отражение на нем всего того, что человек пережил или переживает сейчас. Первое впечатление это как неудачная фотография — застывшее чужое лицо. А если заговорить с человеком, лицо оживет, и в нем обязательно будет что-то интересное.

О чем только не думаешь, когда уйма свободного времени, и ты бесцельно едешь неизвестно куда.

Начинает подсасывать под ложечкой. Возвращается чувство голода, пустого желудка. Неприятное чувство. Настроение падает.

Чтобы отвлечься от размышлений о желудке, рассматриваю лица девушек. Тех, кто появляются на остановках, и усаживаются напротив меня. Одни входят и уходят, приходят другие. Стараюсь по лицу угадать их характер, какие они. Мне кажется, что больше всего о характере говорит нос. Кажется, у Лермонтова где-то сказано, что нос много значит в женском лице... Остроносые капризны. Обладательницы крупных носов девицы с характером, высокие и физически сильные. Такую не поднимешь на руки, не посадишь на колени. Они не бывают нежными и ласковыми, и секс их мало интересует. Нежные и ласковые это небольшие, полненькие, с расплывчатыми чертами лица и аккуратненьким носом. У них наивный взгляд, и они благодарно смотрят на тебя, если обратил на них внимание. Аристотель считал их самыми интересными в любви. По-теперешнему, в сексе. С длинным, сбегающим вниз по лицу носом и опущенным кончиком его — скучны и педантичны. Они жаждут объяснения каждому поступку или слову и не успокоятся, пока не докопаются до истины. Те, у кого нос прямой, правильный, с широкими, красиво очерченными ноздрями, деловиты, требовательны, карьеристки и не прощают промахов.

Это, конечно, все мои фантазии на голодный желудок, не подкрепленные сколько-нибудь разнообразным личным опытом. Иначе в свое время не ошибся бы так сильно, как ошибся: остроносая и большая. Не разглядел? Не понял вовремя? Чему поверил? Ответа нет. Не знаю. Расчет в этом деле не проходит. Вначале всегда ошибка. Редко кому дается сразу попасть в «яблочко».

К концу маршрута вагон полупустой. Напротив меня уже долго едет девушка. Небольшая, полненькая, с расплывчатыми чертами лица и маленьким носиком. В джинсах и белой короткой куртке. Когда всматриваюсь в ее лицо, она отвечает мне заинтересованным взглядом. Потом, когда погружаюсь в свои размышления о влиянии носа на девичий характер, наш визуальный контакт нарушается. Размышления закончились. Поднимаю глаза. Полненькая сидит все также напротив, и во взгляде ее, обращенном на меня, вижу вопрос.

Поднимаюсь, киваю ей головой в сторону двери. И, о, ужас! Она встает и выходит вместе со мной.

Сначала мы идем молча. Надо заговорить. Но не знаю, о чем. О подмосковных усадьбах? *Бред.*

Выходим из метро.

— Пойдем в кино? — предлагаю. — Только не знаю, есть здесь поблизости кинотеатр.— А сам — «*может, откажется*». Тогда — «*до свидания».*

Как приговор:

— Я знаю, здесь недалеко.

Идем молча. Она берет меня под руку.

— Ты видел «Ночной дозор»?

«*Вот так, сразу на — ты. Конечно, не видел. Некогда, да и не в моем вкусе «силовые фильмы*».

— Не видел

— Тогда идем.

Идем. *Увы, мне!* — и попадаем к сеансу.

Перед началом покупаю бумажный пакет попкорна. Знаю, так принято.

Сидим, смотрим на экран и по очереди опускаем руки в бумажный пакет. Стрельба, крики, кровь. Тожество силы и жестокости. Почему-то приходит на память Есенин: «Грубым дается радость, нежным дается печаль...»

Наконец, сеанс окончен. Выходим. Уже ночь.

Она берет меня под руку.

— Тебе куда? — спрашивает.

— Не знаю,— честно отвечаю я.

— Поехали ко мне.

— Поехали.

Идем на автобусную остановку. Ждем.

— Тебя как зовут?

Называюсь.

— А меня Рита.

«*Маргарита, ты ли это?»*

Подходит автобус.

— Наш,— говорит она и, когда двери открываются, становится на ступеньки.

Подсаживаю ее, а сам остаюсь на тротуаре. Она оборачивается и недоуменно смотрит на меня. Дверь закрывается, автобус отходит...

Смотрю на часы. Полночь. Пора на вокзал. Едва успеваю на последний поезд метро.

В вокзале покупаю билет для выхода на перрон, как встречающий, и прохожу в зал ожидания. Ищу свободное место. Есть. Соседей выбирать не приходится. Усаживаюсь между молодым человеком с букетом цветов в руках и пожилым господином в пиджачной паре и при галстуке. Свою сумку с бумагами и книгами втискиваю между собой и подлокотником, вытягиваю ноги и закрываю глаза. Это далеко не горизонтальное положение, в котором не был уже почти сутки. Но все-таки хоть это. Уставшее мое тело обмякает, распластывается в жестком кресле, начинает отдыхать. И тут чувствую острый приступ голода. Рот наполняется слюной, которую приходится постоянно глотать. Господин при галстуке думает, что меня тошнит, отодвигается от меня и отворачивается. Зря. Видно никогда не испытывал остро возникшего чувство голода. Встаю. В буфете покупаю пирожок с яйцом и рисом и маленький пакетик яблочного сока. Возвращаюсь на свое место. «Ужинаю». Через пять минут все кончено. Голодный желудок не расположен растягивать удовольствие.

Тотчас засыпаю.

Ровно в пять просыпаюсь. Позже нельзя. Лучше всего успеть на первую электричку. Надо приехать очень рано и остаться незамеченным. В вагоне малолюдно. Народ едет на работу в центр. А из центра желающих мало. Вспоминаю сон, который мне снился на вокзале. Снов было два. Первый помню смутно. *Останкино. Веду экскурсию. На меня пристально смотрит девушка. Лицо знакомое. Востроносая, высокая. О чем-то спрашивает меня. Я не понимаю, о чем. После экскурсии мы гуляем по парку. Потом она исчезла и больше не появлялась*. На этом первый сон кончился. Может, еще что-то было, не помню. Второй сон уже в электричке. «*Я мальчик. Мама молодая, красивая. Ласкает меня, гладит по головке. У меня много игрушек. Мне весело, я смеюсь, прыгаю. Появляется женщина, молодая, строгая, берет меня за руку и куда-то хочет увести. Я кричу — «мама!», упираюсь. Женщина говорит — «мальчик, идем в детский сад». А мама говорит — «иди, сынок». Я плачу.*

Сработали внутренние часы. Подсознательная память, что через двадцать минут поездки моя остановка, будит меня. Я просыпаюсь. От только что увиденного во сне колотится сердце, на глазах чувствую влагу. Выхожу из вагона в прохладу утра.

Через пятнадцать минут подхожу к девятиэтажному дому-башне. Поднимаюсь в лифте на пятый этаж. Достаю ключ, вставляю в замок и стараюсь бесшумно открыть дверь. Это удается. В прихожей снимаю ботинки и осторожно прохожу в ванную комнату. Бреюсь. Чищу зубы. Умываюсь. Утираюсь носовым платком. В зеркале вижу лицо, уставшее, осунувшееся... Осторожно открываю шкаф. Никто не должен меня видеть. Переодеваюсь, чтобы на работе никто не подумал, что не ночую дома. Прохожу в детскую. Мой мальчик спит. Он похож на меня, светловолосый и лобастенький. Позволяю себе побыть рядом несколько минут. Сегодня от меня гостинца нет. Осторожно подсовываю под подушку десять рублей. На мороженое. Не могу удержаться. Тихонько, чтобы не разбудить, целую его. Он улыбается во сне. На цыпочках выхожу в прихожую, обуваюсь, бесшумно открываю дверь и ухожу.

Ухожу в холодное ранее утро. Сажусь в полупустую электричку. Чтобы убить время еду от центра. Через полчаса езды пересаживаюсь и еду обратно, на работу. К своим дворянским усадьбам, которых много в Подмосковье.

Алексей Яшин
(г. Тула)

СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖКА
(Рассказ-быль)

В наше волчье время люди общаются друг с другом преимущественно через прилавок частного магазинчика, через тюремную решетку, а то и через автоматный прицел. Потеряна веками воспитанная, а в советское время, особенно в 60—70-е годы, доведенная до благолепного совершенства, культура общения. Остатки этой самой культуры сейчас успешно добивает монстр телевидения, а у подрастающего поколения и надежд никаких уже нет: наркотики и последнее изобретение дьявола — интернетовская сеть отобрали у нас и у мира детей, поместив их сызмальства в легко управляемую и контролируемую службой Антихриста виртуальную реальность. Поэтому поколения, чей возраст перевалил за средний (по советским, конечно, меркам, ибо по нынешним этот возраст относится — молитвами отечественных и зарубежных радетелей — едва ли не к студентам-старшекурсникам...), которых каким-то чудом не сумела затянуть в свои цепкие лапки-царапки современная торгово-воровская жизнь, очень дорожат только им и оставленной привилегией человеческого общения, как и встарь: в тесных, но таких уютных кухоньках сам-друг, да под бутылочку акцизной, да под селедочку-лучок, яишенку с салом, сгоношенную доброжелательной хозяйкой, а по табельным дням — за небогато, но душевно накрытым столом в небольшой, десятилетиями не меняющей своего состава компании.

А чтобы женщины, без которых, как ни крути, не обойдешься в домашней обстановке, и которые не имеют своего царя в голове, а потому и скоро — даже умнейшие и мудрейшие из ихнего полу — перестраивающиеся на новый, пусть и поганый, стиль жизни... так вот, чтобы эти заботливые о нас и очаровательные существа не вздумали включить телеящик с нагло-кривыми, отягченными всеми пороками рожами телеведущих и хозяев новой жизни, предусмотрительный хозяин заблаговременно выдергивает и прячет сетевой провод со штепселем. Как тот дурдомовский врач Моргулис из песенки Высоцкого...

«*Эй, трактирщик-старина?*
Дай-ка доброго вина
И крамбамбули стакан.
Доннер-веттер! Кто не пьян?»

— Это песенка немецких студентов-буршей из прошлых веков, а крамбамбули — сорт крепкого ликера. А услышали ее как-то раз гости от разошедшегося хозяина, Николая Андреяновича, великого книгочея, а потому многое помнившего и знавшего.

Услышали и призадумались: а что? Неужели и «забугорники» тоже когда-то общались в дружеских компаниях? Когда же они свой бизнес-торговлю успевали вершить?

Бедные, бедные люди, даже вы, выросшие и вкусившие в зрелые годы все вели-

чие и благодушие эпохи расцвета Советской Империи, успели позабыть, что в жизни человека есть нечто бóльшее, нежели вышибание копейки, которую с собой в мир иной не возьмешь, а в наследство оставить — значит сделать рабом этой копейки детей-внуков...

Были, были времена иные: не только у нас, но и в насквозь практичной Неметчине...

* * *

Николай Андреянович — мой давнишний друг-приятель и коллега по работе в одном из тех немногих в городе НИИ, что уцелел в период грабежа-приватизации, акционирования-разрушения и теперь еще достаточно успешно боролся за свое существование. Во всяком случае, как и двадцать лет тому назад, рисовали мы с ним, находясь в соседних комнатах, ракеты: он — переднюю часть с «начинкой», а я — заднюю с движком.

Надо заметить, что еще пять-шесть лет тому назад в третьей комнате нашего отдела — по коридору напротив и наискосок, рядом с кабинетом одного из замов главного инженера — трудился третий наш непременный компаньон Серега Зябликов. Он рисовал наиболее ответственную часть ракеты — ее оболочку. Когда народ, вдохновленный верховным призывом грабить накопленное и созданное за семьдесят лет советской власти, со стахановским энтузиазмом принялся за святое это дело, Серега, фотография которого не сходила со стенда «Лучшие изобретатели», публично заявил, что жить под властью хама-торгаша и воровского банкира, а тем пачее работать на него, он не намерен, ибо прадед его имел, как и отец Владимира Ильича, чин действительного статского советника, то есть, согласно уложениям законов Российской Империи, он является потомственным дворянином, а потому заключает сам с собою пари: если народ в массе своей не прозреет и трижды проголосует за буржуазную власть, то значит, что народ заслуживает, чтобы его грабили и преждевременно сводили в могилу.

Пари он сам у себя и выиграл. Как только дорвавшийся до свободы народ в третий — после заявления Сереги — раз подряд поддержал демократию и частную собственность, бывший лучший изобретатель уволился и ушел в стихию частного предпринимательства. Собственно говоря, успешно предпринимать ему не позволяла ненависть к хамам и торгашам, верность заветам бесклассового общества, но он удачно встроился с совершенно мизерным взносом — в виде семейных бумажек-ваучеров — в организованный его знакомым кооператив. Кооператив же не менее удачно пристроился к распродаже металлических неликвидов одного акционированного завода. Запасы последних оказались столь гигантскими, что уже пять лет Серега получает приличные дивиденды, все время проводит в своей квартире на окраине города, перечитывает русскую классику, а через два дня на третий пьет водку и философствует по телефону со мной и Николаем Андреяновичем. В последние два года, когда его дивиденды заметно увеличились, даже за водкой перестал из дома выходить, чтобы не видеть хамских рож; водку и закуску ему на дом в любое время суток по звонку привозит действующая в городе частная служба доставки. Как он говорит, даже фамилии и адреса своего не называет. Только набирает простой в запоминании номер, а оттуда уже ласковый голос диспетчерши: «Здравствуйте, Сергей Николаевич! Сегодня как обычно? Вот что-то кушаете вы плохо, а у нас настоящий тамбовский окорок завезли и свежую копченую семгу...»

А недавно, очевидно в порядке черного юмора, разбудили его среди ночи и поздравили: он-де сделал накануне им юбилейный, тысячный за время существования фирмы — заказ. Поинтересовались: привезти ли сейчас приз: бутылку настоящей смирновской и закусочный набор?

Мы с Николаем Андреяновичем Серегу уважаем за четко означенную и выдерживаемую гражданскую позицию. Корпус же ракеты вместо него рисует менее удачливый инженер, который вложил семейные ваучеры в местный гигант металлургии. Гигант прибрали к рукам американцы, и теперь раз в год его жена ездит на другой конец города, получает дивиденды, добавляет к ним три рубля и покупает пачку стирального порошка.

* * *

Надо сказать, что все застолья Николая Андреяновича начинались не водкой под грибки или под селедочку в горчичном соусе, как то повсеместно принято. Исключение делалось только в новогоднюю ночь и на день рождения супруги: здесь поднимались традиционные шампанские бокалы. А в рядовых дружеских пирушках, тем более — беседах за кухонным столиком, все начиналось по-купечески: сначала до пота, до красноты лиц пился чай хорошей заварки, с лимоном, с каплей-другой коньяка, но — без всяких сладостей-пирожков, печений и прочей кулинарии, чем женщины таинство чаепития сводят к обычной жрачке, от которой, кстати говоря, они же и неумеренно и раньше времени толстеют. Конечно, чрезмерная худоба не красит семейную женщину, но все же до сорока лет она должна держать себя в таком теле, чтобы муж ее, особенно подвыпив, начинал слегка ревновать супругу к молодцеватым гостям...

Обычай же, кстати, для здоровья очень полезный, начинать чаем обед или ужин, особенно с вином и тяжелыми блюдами-закусками, Николай Андреянович объяснял наследственностью, в частности, — наглядным примером своего отца, который, будучи на пенсии, пил чай от зари до зари и даже ночью, в бессонницу, благо сон он разделял равномерно по времени суток, где ночные и дневные часы были полностью уравнены в правах. Андреян Матвеевич четверть века прослужил во флоте, где понятий дня и ночи нет, а есть вахты и склянки. Даже настенные часы в рубках кораблей и береговых кают-казармах имеют специальную нумерацию: не от нуля до двенадцати часов, как мы все привыкли, а от нуля до двадцати четырех: восемь вахт по три часа, две полусуточных или одна суточная. Специальные такие часы выпускает (или выпускал?) петродворецкий завод военных хронометров по заказу Минобороны.

Так вот, обычная картина субботнего раннего зимнего вечера. С утра мы с Андреянычем (время — советское!) до полудни в своем НИИ ракету рисовали — обычная предновогодняя штурмовщина: последние две недели уходящего года и работяги в цехах опытного производства куют, и инженерный корпус ватман переводит. А выйдя за ворота, ради близкого праздника для отправились стричься в парикмахерскую. После нее сам бог велел заглянуть в парковую «стекляшку», выпить по стаканчику портвешку ординарного розлива, слегка, чтобы не портить аппетит, закусить, потом погулять по чисто подметенным аллеям заснеженного парка среди снующих лыжников. Нагуляв аппетит до бунта желудочного сока, в сизом морозном сумраке, потирая защипавшие уши, идем к Николаю Андреяновичу — он рядом с парком живет. В ближнем магазине прихватываем бутылочку «старки». Она для здоровья очень полезна!

К нашему приходу хозяйка дома, хорошо знающая субботнее расписание, уже заварила литровый фарфоровый чайник, и щедро насыпанный из пачки со слоником чай настаивается до багряной красноты под ватинным сарафаном кукольной купчихи. Пока весьма интересная для своих лет супруга Андреяныча жарит на сале загодя почищенную картошку и разогревает домашней фабрикации котлеты (закуска же набирается морозного оптимизма в холодильнике), мы сам-друг, уместившись на той же кухне, в противоположность закуске отходим багровыми щеками от уличного холода пятыми стаканами не менее багрового чая. Супруга все норовит поставить

«старку» в холодильник, а Андреяныч сердится: «Сколько же можно учить! «Старка» — это настойка, не водка, а в холодном виде настойка теряет свой вкус...»

Николаю Андреяновичу не только традиция чаепития от родителя досталась, но и само ее оформление. Кое-кто вот посмеивается над китайцами-японцами за их чайные церемонии, а зря. Сам становишься этаким русским японцем (ради бога, не подумайте, что это про известную нашу демократическую деятельницу касаемо...), хоть раз отведав чаю в компании с моим приятелем: стаканы у него тонкого стекла с золотым ободком, хотя и пьют из них уже третий десяток лет. Про подстаканники и говорить нечего: настоящая скань, металлическое кружево из мельхиора, музейное произведение искусства. Кроме как у Николая Андреяновича, я такие видал только на больших коробках подарочного краснодарского чая изображенными. А в глубоком детстве — в поездах чай в таких подстаканниках проводники разносили. Да видно все разнесли... уже с 60-х годов их заменила аляповатая алюминиевая штамповка с мутно-выдавленным рисунком.

И ложки чайные особенные, серебряные, с затейливыми узорами, а у хозяина и того примечательнее: старинного серебра, с эмалевыми (как на ордене Красной Звезды) овальными вставками на черенке, с затейливой гравированной монограммой ***«А. Е. Ш.»***. Но, как это ни странно, эта замечательная ложка сердит хозяина. И когда «старка» выпита, тянет в сон, энтузиазм приятельской беседы иссякает, пьется последний стакан завершающей заварки чая, Андреяныч с легким раздражением высказывает свое неудовольствие ложкой: «Черт-те что, уже двадцать лет ею пользуюсь, а все привыкнуть не могу! Случайная в доме вещь, опять же инициалы эти... напоминают, что чужая это вещь: как украл все равно! Кто ею раньше владел? — Может графиня Агнесса Евграфовна Шереметьева, а скорее всего провинциальный зубной врач Шустерман Абрам Ефимович... Нет, не могу привыкнуть и все тут!»

Я-то в курсе всех этих неудовольствий, мне и объяснять ничего не надо, а более далеким от семейных тонкостей гостям супруга Николая Андреяновича, когда тот отлучится на время от праздничного стола, поясняет: «Переживает, что отцовскую серебряную ложку в наследство (ха-ха, наследство...) не получил».

* * *

Андреяна звали на посту в глаза и за глаза Матвеичем. Не только свои матросы, то есть, его подчиненные, но и часто заезжавшие на катере офицеры из начсостава СНИС´а* и политотдела. Действительно, по своему возрасту — недавно двадцать шесть стукнуло ровеснику Октября, да невысокому старшинскому званию он смотрелся дедом среди команды возглавляемого им поста. Оно и понятно, сам он был из кадровых, служил с тридцать шестого, свое срочное выслужил, ан к демобилизации Финская кампания подоспела, а поскольку Северный флот считался в той войне действующим, то и ДМБ** отменили, а после Финской и вовсе такое понятие исчезло. Так и потянулось, а конца войне не видно было...

Матросы же в его команде — сплошной молодняк-салаги первых военных лет призыва, кроме Асатурьяна, имевшего великое воинское звание старшего матроса, тоже кадрового тридцать девятого года призыва, да слегка охромевшего на левую ногу во время службы. Демобилизовать, конечно, не демобилизовали, но и на Сталинградский фронт, куда осенью сорок второго всех мало-мальски свободных от боевых дел мореманов подбирали, оказался негоден. А в СНИС´е — самое место, не в атаку бегать с хромой ногой; даже в бомбоубежище не нужно утруждаться: запрещено уставом боевой наблюдательный пост покидать.

---

* Служба наблюдения и связи (военн.).

** Демобилизация, принятое на флоте сокращение.

А сам Андреян в СНИС´е оказался по причине своей фамилии: сколько ему в течение жизни пришлось фигурировать в различных списках, везде он был замыкающим, левофланговым, хотя в строю обычно присутствовал по причине высокого роста как раз на правом фланге! Их опекун из политотдела береговой службы майор Шулейко как-то, будучи в добром расположении духа, сказал Андреяну, что специально интересовался в общесписочном составе Северного флота: там Андреян предпоследним и то потому, что список замыкала его однофамилица, женщина-военврач...

Служба — дело регламентированное, здесь людей, если ты не командир достаточно высокого ранга, считают по головам, а упорядочивают по спискам личного состава. И распределяют вновь прибывших по частям и по роду воинских занятий тоже по алфавиту. А так как в перечне последних поначалу следуют геройские военные профессии, а во флоте это подводники, будущие экипажи крейсеров и эсминцев, катерники-смертники и так далее по нисходящей, то завершающие алфавитный список и попадают в лучшем случае на каботажные вспомогательные посудины буксирного образца, а то и вовсе в береговые команды: тот же СНИС, штабные радисты и порученцы, комендатура, особисты. В мирное время это задевает честолюбие воина в тельняшке, а в военное — сам себя стыдясь — порой и поблагодарит воин судьбу и отца своего за фамилию... Дело житейское, понятное, даже черномундирный майор Шулейко не попрекнет.

Так вот и с Андреяном: в обоих учебных отрядах — в Кронштадте и на Соловках — с концом списков в связисты попадал, а по прибытии в Полярный в СНИС. Правда, Шулейко, тогда еще старший лейтенант, восхитившись его анкетой — с малолетства крестьянский сирота, среднее образование и техникум закончил, на ударной стройке пятилетки Волховстрое успел поработать, дядька капитан НКВД,— пробовал его в особисты записать, однако на непременное условие («Чтобы через год заявление в партию!») Андреян не согласился, ссылаясь на молодость и неподготовленность к столь ответственному шагу. На самом же деле, будучи происхождением из калужских старообрядцев-поповцев, в крови унаследовал он неприязнь к участию в делах, пусть и правильных, нужных стране, но постоянно, днем и ночью подконтрольных начальству.

Шулейко же не оставлял раз запавшей в его упрямую хохлацкую голову мысли: уже и в капитанском, а потом и в майорском званиях при каждой встрече с Андреяном набивался даже с личной рекомендацией в партию. А от постоянного неуспеха в этом деле, пакостил, как мог. Оттого-то Андреян, кадровик 36-го года призыва, участник уже второй войны, специалист высокого класса, со средним специальным образованием, был и оставался всего-навсего старшиной 2-ой статьи, хотя и командовал очень ответственным постом прямо на входе в Кольский залив, куда был назначен в самом начале войны, как кадровый старослужащий.

Андреян, опять же по наследственной старообрядческой нестяжательности, мало беспокоился своим скромным воинским званием, однако история с крейсером «Эдинбург» и его задела очень даже чувствительно.

* * *

Несмотря на малое свое звание и незавидную береговую должность, когда всей стране были известны имена североморцев Сафонова, Гаджиева, Лунина, Фисановича, матроса Сивко, героев-катерников, Андреян не был бесконечно малой песчинкой. А многие события войны на Севере, о которых впоследствии сын его Николай узнавал из школьных уроков истории, так или иначе касались отца, который и комментировал их по-своему, приняв «для разговору» пару-тройку рюмок в табельный день.

Это не удивительно, ведь флот — не безликая и многомиллионная серая масса (по окрасу шинелей) пехоты на полях Великой войны. Во-первых, Северный флот

фактически был единственным активно действующим в течение всей войны; во-вторых, пост Андреяна располагался в узловом месте — на крутобоком острове То́рос (от слова «торо́с» — глыба льда, что соответствовало скалистой его форме) на самой границе Кольского залива и Баренцева моря. А в-третьих... сама организация флота есть единый, компактный механизм, где каждый человек — от только что призванного салаги до адмирала — есть недублируемая частичка этого слаженного механизма. А если учесть своего рода обжитость мест базирования — это не кочующие сухопутные армии и фронты — и относительное постоянство состава (гибнут, конечно, единицами на берегу, экипажами на море, но ведь не ротами и эскадрами зараз!), то за два-три года войны, как жители районного города, все друг друга знают, а командующий и его штаб, звоня на отдельный пост за добрую сотню миль, без затруднений называют фамилию того же малочинного Андреяна... И заслуженные награды часто сам адмирал составляет, если только не подвернется бдительный и долгопамятный Шулейко и иже с ним.

* * *

Про крейсер «Эдинбург», вывозивший через Мурманск советское золото — в оплату за союзнические ленд-лизовские поставки, из которых Андреян почему-то запомнил только «второй фронт» и хеопсовы пирамиды мешков с какао-бобами на Мурманском причале, — много чего в послевоенные годы понаписано. Но когда «Эдинбург» выходил из Мурманска, шел по заливу и далее в море, вряд ли кто, кроме комфлота, знал о его содержимом. Поэтому когда Андреян взял телефонную трубку и услышал голос адъютанта: «Сейчас с тобой командующий будет говорить», — то был нимало удивлен.

— Слушай (он назвал Андреяна по фамилии), у тебя туман не спадает?

— Нет, товарищ адмирал, со вчерашнего вечера видимость нулевая.

— Вот что... тут один английский крейсер затерялся; он идет без радиосвязи и без звукового оповещения. Акустики его тоже не слышат, значит, встал в тумане. По всем прикидкам на выходе из залива. Усиль наблюдение, а в случае чего звони прямо в штаб.

Стоял полдень, но по всему было видно, что туман установился не на сутки и не на двое. Стояла полная тишина: ни ветра, ни шума немецких бомбардировщиков — на Мурманск, и у люфтваффе по поводу тумана выходной. Только редкие гудки маяков в заливе.

Прошла пара часов, ничто не выдавало возможное присутствование где-то рядом большого корабля. Захотелось есть, глаза слезились от едкого туманного холода, усугубляемого постоянно прижатыми окулярами бинокля. Позвонил по внутреннему и вызвал на мостик самого опытного — Асатурьяна, сам же спустился в жилую часть поста, зашел на камбуз, где никого не было — уже команда пообедала, и кок Гриша ушел. Дежурный бачок со щами стоял на малом огне плиты. Налил миску горячих щей. Сел за стол. Однако решил подождать, пока щи поостынут. Так советовал военврач в госпитале в Полярном, где год назад он провел пару недель: язва объявилась.

Аппетит разыгрался не на шутку, и Андреян неотрывно смотрел на миску, пар из которой все не утихал и наводил на какие-то неясные мысли, вовсе далекие от еды. Внимательно приглядевшись к пару, Андреян наклонил голову вбок, так что глаза оказались на одном уровне с краями миски, а щей он не пожалел, налил вровень с краями. И здесь-то его осенила мысль, сделавшая его имя на некоторый срок известной самому высокому флотскому начальству...

Однако, война войной, а чего щам пропадать? Не торопясь, опять же как советовал старый и опытный врач-подполковник, Андреян закусил и гречневой кашей с тушенкой, только после этого надел бушлат, шапку и вышел на воздух. Даже не заходя в кубрик к команде.

Выбирая дорогу скорее ногами, так как все равно в двух метрах ничего не разберешь, он нащупал тропинку единственно имевшегося на острове крутого спуска к воде, и вскоре под ногами шелестела береговая галька. Дошел до края отмели (был час отлива), выбрал место почище, посуше и, как в физкультурном упражнении на отжатия, прилег на носки и ладони, повернув голову в сторону воды, почти вровень глазами с ее зеркалом.

Действительно, как он и ожидал, над поверхностью воды простирался высотой в полметра участок чистой и полной видимости, а поведя глазами туда-сюда, на расстоянии не более пяти-шести кабельтовых он увидел и длинную черную полосу борта корабля, по размерам вполне соответствовавшего крейсеру, только почему-то черного цвета (?).

Быстро взбежал на горку, поднялся на мостик, не замечая прильнувшего к биноклю Асатурьяна, вошел в остекленную рубку и набрал штабной номер, доложил дежурному офицеру. Тот уточнил: «Окраска бортов черная?» — и получил подтверждение, после чего дал отбой связи.

Однако не успел Андреян рассказать Асатурьяну о связи горячих щей с английским крейсером, как раздался телефонный звонок. У трубки, минуя адъютанта, был сам командующий. Еще раз выслушав доклад, он поинтересовался: откуда, дескать, старшине известно про такое свойство тумана? Про щи Андреян говорить не стал, сослался на прилежное изучение физики в школе и техникуме. «Хорошо тебя учили в школе, — рассмеялся командующий, — готовь дырку на форменке под Красную Звезду!» И дал отбой.

Однако прибывший через пару недель на катере майор Шулейко, построив команду и зачитав благодарность командования за исправную службу, вызвал из строя Андреяна и торжественно вручил ему... медаль «За боевые заслуги», причем даже без номера на реверсе.

Сопровождая вручение награды краткой, но прочувствованной речью, майор Шулейко призвал краснофлотцев быть такими же усердными и сметливыми в службе, «как ваш боевой товарищ и командир, который, хотя и не является членом Ленинской партии, но не щадит...» и так далее. Услышав непонятный шумок на левом фланге, где стояла англо-американская команда, майор чуть повысил голос: «Это же относится и к нашим доблестным союзникам!» После чего ядовито заулыбался весь строй, а хорошо понимавший по-русски матрос-переводчик Джеймс Лэнг закашлялся, глуша разбиравший его смех.

* * *

На этом история с «Эдинбургом» не закончилась, а имела и ближнее продолжение, и весьма отдаленное, а потому и туманное, до конца невыясненное.

Надо сказать, что из всех союзников, несших параллельные вахты на посту, а их сменилось множество — англичан, американцев, австралийцев, канадцев, даже новозеландец один был, — Андреян более всех сдружился с Джеймсом Лэнгом. Он по-русски говорил не хуже его самого, только характерный акцент выдавал иностранца, но с тем же американцем его ни за что спутать было нельзя; был Джеймс породистым англичанином, филологом, окончившим Оксфорд (у них в войну высшее образование вовсе не означало офицерский чин). В мирной жизни преподавал в колледже, работал над диссертацией по славистике, жил в собственном доме в пригороде Лондона, да еще в Ливерпуле квартира была — жена в балетной труппе тамошнего театра выступала. Впрочем, это он о себе в прошедшем времени говорил, там, в Англии, все оставалось по-прежнему: и дом стоял, обихаживаемый семейной парой прислуги, и жена на ливерпульской сцене танцевала, а вот Джеймс в матросской форме нес службу на крохотном островке Торос, на который, пролетая ежедневно бомбить Мурманск, обя-

зательно немцы сбрасывали пару-тройку бомб, ибо был их пост в горле залива как бельмо.

Андреян, хотя и окончил всего-навсего техникум молочной промышленности в Калужской области — по комсомольской разнарядке, но человек был начитанный, самообразованный, думающий и любитель поговорить о высоких материях: сказывалась старообрядческая наследственность.

Джеймсу тоже нужен был собеседник в долгие полярные ночи. Андреян же выделил англичанина с первого дня пребывания самой первой команды союзников, прибывшей на Торос одновременно с приходом в Мурманск первого из ленд-лизовских караванов *«PQ»*. День был ясный, поэтому немцы по расписанию летели с норвежских аэродромов бомбить Мурманск. Летели кучно, неторопливо, как они летали первые два года войны, огибая редкие зенитные батареи, а наших самолетов в воздухе до сорок третьего года и вовсе не было видно...

Увидев первые эскадрильи, союзные матросы дружно устремились в выдолбленное в скалах бомбоубежище. Через полчаса они вновь появились на мостике поста, где Андреян с Асатурьяном продолжили с ними беседу-инструкцию по несению боевых вахт. В конце инструктажа переводивший беседу Джеймс поинтересовался, оставшись наедине, у старшины: почему русские матросы не спускались в бомбоубежище? «А пост покидать нельзя, за это трибунал», — бесхитростно пояснил Андреян.

— Но ведь бомбят? Я слышал несколько разрывов большой силы!

— Что поделаешь. Пока что прямых попаданий не было, островок крутой, бомбы в основном по боковинам лупят, рыбу глушат. Сейчас салаги пойдут на берег треску для камбуза собирать...

Еще через полчаса немцы полетели в обратную сторону, на мостике замигал синий фонарь тревоги, но Джеймс с мостика не ушел. На другой день, тоже на редкость ясный и безоблачный, немцы шли на бомбежку точно по графику. На этот раз все трое англичан остались на мостике, в бомбоубежище спустились только янки (это они делали до конца войны).

* * *

Вскоре после случая с черным английским крейсером, Джеймса перевели с поста в ленд-лизовское представительство, а встретились они случайно в конце зимы сорок четвертого в Мурманске. Андреян с двумя матросами прибыл с утра на политотдельском катере в Мурманск — получить для своего поста тяжелый пулемет «кольт» из американских поставок, стереотрубу, бинокли и кое-что по хозяйственной части. Обратный катер ожидался только наутро, поэтому, оставив на комендантском пирсе в караульном помещении матросов с карабинами при ящиках с добром, сам он отправился побродить по Мурманску, точнее, по тому, что осталось от него после трех лет немецких бомбежек. Однако районы у причалов, судоремонтного завода уже начали застраиваться бараками и скороспелыми служебными зданиями. На улицах, тоже скороспелых, даже под вечер было многолюдно, слышалась английская речь, даже женский смех; закат войны ощущался именно по женскому смеху...

Здесь-то он и встретил Джеймса, уже лейтенанта в щегольской форме. Как тут же выяснилось, Джеймс также был свободен на весь вечер. Надо было выпить, поговорить, но где? Это ведь не Торос, где нет начальства, а кок Гриша даже из сушеной картошки, тушенки и сухого молока мог сготовить на закуску нечто очень даже похожее — особенно по вкусу — на жареную картошку с мясом и яичницу с салом.

В единственную в городе столовую с подачей пива, открытую специально для союзных моряков, вход Андреяну был закрыт. Также и в комендантскую караулку на пирсе Джеймса не пустят. А где взять выпить? — Однако этот-то вопрос решился тотчас; Джеймс попросил подождать его чуток, сбегал в стоявшую рядом свою

миссию и вернулся оттуда с оттопыренными карманами шинели и свертком под мышкой.

Ломая голову, они остановились перед бараком, дальше узкую улочку перегораживала гора свежесваленного угля. Отворилась барачная дверь, вышел пожилой мужик в ватнике, сапогах, с ведром — и пошел в сторону угольной кучи.

— Отец, выпить нам надо, не пустишь?

— А в чем дело-то, заходи, дверь открыта, кухня направо, а я сейчас, угольку вот прихвачу...

Через пять минут Андреян с Джеймсом, раздевшись до тельняшек, сидели за столом натопленной до банной духоты кухни. На столе пузырилась литровая бутыль виски, хозяин раскладывал по тарелкам принесенную Джеймсом закуску: уже порезанную ветчину, консервированную колбасу и копченого лосося, порезал белую булку.

Выпив за знакомство полстакана виски, хозяин деликатно удалился в свою комнату, заверив, что мешать им никто не будет: семейные живут в отдельной половине барака, здесь только мужики — по вербовке на портовые работы из Архангельской области, так они только ушли в свою смену, он за дежурного истопника остался.

* * *

В тот вечер они хорошо поговорили, присоединившийся к концу беседы мужик выставил от себя бутылку «Московской», поджарил большую сковороду трески.

В числе прочего вспомнили и об «Эдинбурге». В то время, хотя, конечно, в газетах об этом не писали, и Левитан чеканным голосом не сообщал, но среди моряков-североморцев уже знали о характере груза крейсера. Джеймс горячился, вспоминая обиду, нанесенную Андреяну — медаль вместо ордена, — сказал, что если его командиры так плохо оценили смекалку русского старшины, то он, лейтенант Лэнг, компенсирует русскому герою английским боевым орденом Георга; завтра же попросит своего полковника составить ходатайство. Здесь же, за барачным столом, записал в свою книжку точную английскую транскрипцию фамилии, имени и отчества героя.

— Не знаю, Андрэй-йан, увидимся ли еще, но орден Георга от короля я тебе гарантирую, а от меня — возьми, что есть, — и Джеймс хлопнул ладонью о ладонь Андреяна, отнял ее, а на ладони засверкала золотая гинея (золотой у Андреяна то ли затерялся, а, скорее всего, украли в первый послевоенный год). Еще он записал в свою книжку калужский адрес старшины — адрес его младшей сестры, жившей в деревне; другого адреса у него не было; не давать же адрес дядьки, уже подполковника НКВД? Вырвав листок, Джеймс написал и оба свои адреса: лондонский и ливерпульский: «Пиши обязательно, а будешь в Англии — заезжай без церемоний!»

Расставаясь у пирса, они обнялись. Больше им встретиться на этом свете не довелось, хотя до самого конца войны они не теряли друг друга из виду, при случае передавая приветы через знакомцев.

Орден Георга Андреян так и не получил, хотя наверняка и точно знал, что Джеймс ходатайствовал об этом: в начале сорок пятого, распекая вечного старшину за историю с Косыгиным, Шулейко, уже свежеиспеченный полковник, проговорился: «...Мать твою! Был ты старшиной второй статьи, им и войну закончишь. Ордена Георга ему, видишь ли, захотелось!»

Так и закончил Андреян войну со скромным иконостасом: к давешней «За боевые заслуги» без номера добавилась положенная кадровиком «За оборону Советского Заполярья» и всем положенная медаль «За победу над Германией», а в сорок восьмом, за месяц до демобилизации, получил и «XXX лет Советской армии и флоту». Впрочем, многие сухопутные моряки и этого не имели; бытовала после войны среди мореманов присказка: где североморцы с орденами? — Между Кильдином и Шпицбергеном! (То есть на дне Баренцева моря.)

Еще Андреян от той войны захватил в мирную жизнь затаившийся туберкулез и язву, что пришлось ему лечить и оперировать в пятидесятилетнем возрасте, когда организм человека выявляет все свои скрытые недуги. Поэтому Андреян и прожил всего-навсего семьдесят с небольшим, хотя у его предков-старообрядцев (родители не в счет, они от холеры в гражданскую померли) в моде были возрасты 100—110 лет.

Закончил Андреян свою жизнь в самую горбачевщину, может, и к лучшему, не увидел разрушения и гибели государства, которому отдал годы и здоровье...

Совершенно неожиданно и каким-то другим боком орден Георга выплыл уже после смерти Андреяна. Намечались очередные демократические выборы, почтовые ящики граждан (у господ в виллах ящиков не было, им почту в офисы приносили) каждый день разбухали от подметных листовок, газет и даже брошюр, описывающих подвиги кандидатов. Николай Андреянович макулатуру эту не читал, конечно, но приспособился использовать большеформатные газетные листы из добротной бумаги с пользой: заворачивал в них бутерброды-торомозки, что брал с собой на работу (в столовую он и его коллеги давно из-за дороговизны перестали обедать ходить). А когда эти бутерброды ешь в обеденный перерыв под чаек собственной заварки, то глаза поневоле ищут себе занятия, вот и прочитаешь какую-нибудь чушь в промасленной газетке.

Но одна пространная заметка раз как-то не на шутку заинтересовала Николая Андреяновича. Автор статьи, по всей видимости, получил редакционное задание изваять в грязи конкурента по выборам, выставив на передний план достоинства патронируемого кандидата, но сделать это аккуратно, не прямыми, но косвенными сопоставлениями, поскольку конкурент, хотя и был коммунистом, но именно он в текущий момент занимал ту должность, которая и была предметом грядущих выборов.

То есть, облаять и оболгать впрямую было опасно.

* * *

Получив задание от начальника выборного штаба, нанятый на время предвыборной компании матерый журналюга Семен Липкин, хорошо известный в их городе корреспондент бывшего органа областного комсомола, а ныне рупора демократии, процветающего и скандального восьмиполосного «Юного ленинца», не долго думал-размышлял. В совершенстве — ведь ВКШ* закончил! — владея тем, что сейчас называют модным словом *«пиар»*, он решил написать статью на сопоставлении и вышибить пот негодования у демократической общественности (торговок-челночниц, не имеющей царя в голове интеллигенции, зомбированной телеящиком молодежи и умеющих читать бандитов) историческими параллелями. За основу сопоставления он взял прямо противоположные мнения о «большом брате» — Америке, накануне высказанные обоими конкурентами и еще памятные жителям города. Кандидат от компартии, выступая по местному телевидению, крайне нехорошо отозвался о «старшем брате», который и разрушил СССР, а в качестве извечного американского вероломства сослался на исторический прецедент: бесконечное затягивание открытия второго фронта в годы войны, стремление отделаться от действенной помощи восточному союзнику ленд-лизовскими поставками, весь объем которых не превышал 8% от советского производства...

А его конкурент от правых сил, молодой и энергичный предприниматель, хозяин обоих городских кладбищ и всех платных сортиров города, бывший второй секретарь обкома комсомола Леонид Хребтоломов буквально накануне поделился с читателями «Юного ленинца» своими впечатлениями о недавней поездке в Империю Доллара для стажировки в части муниципально-хозяйственного бизнеса (ездил он по более

* Высшая комсомольская школа (старорежимн.).

прозаическому делу: переводить нажитые трудовые в *«Bank of New York»* и заодно купить завалящий домишко-виллу во Флориде). Статью эту за пару сотен «зеленых» писал сам Семен Липкин, ему же и проще было выстроить центральный эпизод сопоставления, где требовалось документально показать героизм американцев в войне, их неоценимую помощь СССР, наконец, черную неблагодарность советского руководства, да и вообще советского народа, по отношению к звездно-полосатой державе-спасительнице.

Как и всякий интеллигент-середняк из пишущей братии, всю жизнь стремящийся покинуть «эту страну» и обосноваться в краях похлебнее, Семен хорошо знал еще с советских времен, кроме русского литературного и родного разговорного, английский язык. Теперь это знание и здесь пригодилось, в «этой стране», где с каждым годом все труднее и труднее становилось без знания *English* получить сколь-либо терпимо оплачиваемое место.

На следующее за получением редакционного задания утро матерый шакал пера вышел из своей квартиры затемно и сперва-наперво заскочил на часок к Регине, общедоступной журналистке из их «Ленинца», двадцатисемилетней и еще не очень потрепанной — для вдохновения. С ней же доехал до редакции газеты, где с рук на руки сдал спутницу собственному фотокору газеты, который с ежеутреннего похмелья использовал мужелюбивую журналистку в своем закутке-фотолаборатории, сумрачно освещенном вечным красным фонарем...

Сам же заглянул поздороваться со своим завотделом и сообщить, что он на сегодня занимается в архиве-библиотеке редакции, поэтому на экстренные выезды, коли такие случатся, пусть пошлют кого помоложе. Завотделом, видевший в окно, как Семен подходил к редакции с Региной, что-то проворчал насчет «борделя, который развели в коллективе», Семену же кивнул в том смысле, что халтура — дело святое, но и про интересы газеты надо помнить... Семен неопределенно хмыкнул и ушел в архив. Зав же отделом был издавна, еще с советских времен, сторонником иной ориентации полов, поэтому брезгливо относился к внутриредакционному разврату. Сам он в свое время даже подпал под редко применяемую статью о муже- и скотоложестве, правда, срок получил условный (судья волею случая из их же братии оказался). Теперь этим сроком козыряет: жертва тоталитаризма! Еженедельно, в ночь с пятницы на субботу, посещает клуб по интересам «Ганимед»; чисто мужской.

* * *

Уже прочитав основательную статью Семена Липкина в промасленной бутербродами с маргарином и килькой подметной газетенке, изданной на сортирные деньги Леонида Хребтоломова, Николай Андреянович в послеобеденной тишине своего конструкторского отдела ломал себе голову: что есть истина и что есть ложь? А главное — кто сделал кашу из достоверного факта: Семен или автор статьи в той самой американской газете, на которую Липкин ссылается? Наверное, решил он, оба исказили, выполняя каждый по-отдельности, социальные заказы своих хозяев.

Итак, по статье в промасленной газетке получалось, что морской американский сержант Джон (но не Джеймс!) вначале служил в Анкоридже на Аляске при тамошнем ленд-лизовском управлении... далее Семен на целый столбец развез описание и перечисление поставок Америки СССР через Дальний Восток; получалось, что одних этих поставок за первые полгода ленд-лиза, что Джон служил в Анкоридже, хватило Советам до взятия Берлина. Далее Липкин снова вернулся к героической личности Джона. Как опытного специалиста с высшим образованием и знанием русского языка, сержанта перевели в ленд-лизовскую команду в Мурманск. Там Джон совершил множество подвигов и был награжден высшими орденами США и Англии, получил офицерский чин, но от русских он не дождался даже солдатской медальки... (в дейст-

вительности же Джеймс Лэнг к концу войны имел три советские награды). Там же на Севере Джон подружился с русским моряком, старшиной, который тоже как бы совершил подвиг: в сложной обстановке, ночью в туман и восьмибалльный шторм, сумел, находясь на наблюдательном посту, обнаружить и предотвратить крушение английского транспорта с особо ценным грузом, шедшего в Мурманск и по метеоусловиям отбившегося от ленд-лизовского каравана.

Как тотчас сообразил Николай Андреянович, то ли американский журналист, а скорее всего Липкин, заменили «Эдинбург» на транспорт; оно и понятно: кому же нужны такие пикантные подробности, что в самые трудные времена войны союзники, словно мелочные лавочники, не верящие в долг, торопились вывезти из истекающего кровью СССР плату золотом за свою тушенку и какао-плоды...

Так получилось, что геройский русский моряк имел кулацкое происхождение (!?), то есть, его родители имели в свое время лошадь и теленка-первогодка, поэтому политотдел «зарубил» его представление к награде. Пораженный такой черной неблагодарностью, Джон от имени ленд-лизовского управления ходатайствовал перед королем о награждении его английским орденом за спасение английского же судна с ценным стратегическим грузом. Действительно, орден Св. Георга вскоре прибыл и был передан в наградной отдел Северного флота. Однако политотдел был начеку. Поскольку у геройского советского моряка (Семен в статье, избегая слова «советский», везде писал — русский) было сложное для иностранцев фамилия-имя-отчество, то Джон сначала ошибся в транскрипции, ошибка также вкралась и в официальный королевский указ, наконец, малограмотные политотдельцы еще раз исказили при обратном переводе на русский. В итоге, хотя все знали о ком идет речь, моряка с такой фамилией-именем-отчеством в кадровом списке флота не оказалось...

Самое паскудное, как возмущался Семен Борисович, орден этот забрал-присвоил себе видный политотделец, слегка похожий по своим фамильно-именным данным на геройского моряка, а некоторое несоответствие с английской транскрипцией в королевском указе мотивировалось все той же ошибкой в переводе на латиницу и обратно сложной русской фамилии-имени-отчества...

От души посмеявшись над последней нелепицей, Николай Андреянович, заинтересовавшийся было некоторыми совпадениями рассказанного в статье и известного ему от отца, потерял к чтению всякий интерес и хотел было скомкать газету и выбросить в мусорную корзину, но что-то его остановило. Пропуская целые абзацы и колонки восхвалений в адрес американских союзников, Николай Андреянович натолкнулся на фразу, совпадение содержания которой с действительно бывшим никак не могло быть случайным: Джон закончил свою службу в Мурманске трагически — и по вине неблагодарных русских! Проходя мимо некоего официального здания в ранневесенний день, он загляделся на чистое голубое небо, так напомнившее ему безоблачные небеса родного штата Канзас. В это время на крыше здания несколько проштрафившихся матросов отбивали с ее кромок густо наросшие за ночь сосульки. Увидев заинтересовавшегося американского офицера, они со злорадством и враз дружно громыхнули ломами, а посыпавшиеся колья-сосульки выкололи оба глаза у геройского американского моряка...

Да, Джеймс Лэнг действительно вернулся в Англию слепым; о долгой войне, России и русских, советских друзьях-однополчанах ему осталась лишь память. В конце апреля 45-го года, уже с оформленными документами об увольнении со службы королевскому флоту, он шел по главной и тогда единственной улице Североморска, загляделся на синее небо, которого не видел полгода, неосторожно остановившись у стены двухэтажного здания. В это время ударила залпом зенитная батарея, рядом, в Верхней Ваенге; немцы уже давно не появлялись в северном небе, залп был учебным, по баллону воздушной мишени, что тащил за собой на пятиверстовой вы-

соте на тросе самолет. Звуковая волна шарахнула по крышам домов, стряхнув тонны сосулек, которые в тех местах ранней весной нешуточная опасность. Две из них и ослепили Джеймса. Об этом несчастии Андреян узнал из случайного разговора уже после Дня Победы. Он позвал в свою рубку Жору Асатурьяна, вернувшись из Североморска, и они молча выпили поллитровку спирта.

Николай Андреянович уже бережно разгладил газету, аккуратно сложил и упрятал во внутренний карман пиджака. После работы зашел с коллегами в пивную «Восток», одну из немногих оставшихся от старых времен, куда пускали еще *простой народ*, а значит, и цены были мало-мальски реальные. Рассказал о сегодняшней газетной находке. Коллеги советовали обратиться сначала к автору статьи, выяснить первоисточник, а потом действовать через военно-архивное управление. Николай Андреянович попервоначалу воодушевился, несколько дней обдумывал, даже пару раз с работы звонил в редакцию «Юного ленинца», но Липкина на месте не оказывалось. Однако по прошествии недели поостыл, припомнив в разное время читанные и слышанные истории про страшную волокиту и неразбериху в архивном военном ведомстве. Да и к чему ворошить? — Пусть останется как есть.

...Хотя орден Георга красивый и внушительный. Николай Андреянович даже по большим праздникам лицезрел его на груди старого, но бодрого инженера по оборудованию Метелина из отдела техдокументации; тот в последний год войны служил штурманом — после авиашколы — в дальней бомбардировочной авиации и летал из Белоруссии в Англию и обратно в знаменитых «челноках».*

* * *

Джон не Джон, но вот уроженец штата Северная Каролина, чистокровный янки Майкл Холлувэй почти что побратимом старшине Андреяну стал; отсюда, кстати, и заглавная история с серебряной ложкой. Ну, об этом дальше. А выделил Андреян Холлувэя уже через пару недель после прибытия последнего на пост. Шел декабрь сорок второго, самый разгар Сталинградского сражения. Как-то совершенно неожиданно к острову подрулил политотдельский катер, а прибывший на нем майор Шулейко, построив личный состав поста (союзников оставил в соседней комнате), произнес краткую и суровую речь о том, что судьба войны решается сейчас на Волге, и долг всех советских людей, моряков-североморцев тем более — своей грудью защитить Сталинград. Короче, от вашей команды — два добровольца:

— Добровольцы есть? Два шага вперед!

Как и положено старшему, два шага сделал Андреян, чуть помедлив, ту же артикуляцию проделала и команда. Так было положено. В этих действиях никто и не заметил, что из соседней комнаты тихо вошел Холлувэй и пристроился на положенный союзникам левый фланг и сделал два шага вперед со всей командой. Майор Шулейко потом объяснял это тем, что американец, не зная русского языка, не понял суть речи и приказов командира. Однако сам Холлувэй — за время общения с союзниками наши матросы научились с ними общаться на ломанном русско-английском — позже утверждал, что он осознанно вызвался добровольцем, правда, для храбрости пару раз приложился к фляжке с виски...

Осмотрев одобрительно строй добровольцев, похвалив выправку и бодрость духа, молча отведя за рукав от строя и направив к двери Холлувэя, Шулейко чуть помедлил и назвал две фамилии: один из этих двух счастливцев как-то попался Шулейко несколько нетрезвым, а другой привел политотдельца в негодование, отрастив

---

* Не дай, бог, спутать с современными мешочниками-барахольщиками... Кстати, почему-то мало кто, даже из старших поколений, знает, что челночные бомбардировки Германии производили на паритетных началах как английская, так и советская авиация.

полгода назад усы, что, с его точки зрения, вовсе не являлось нарушением формы одежды. Шулейко придерживался прямо-таки противоположного мнения...

Самое интересное, что по прошествии достаточно длительного времени Джеймс Лэнг (это он во время памятной встречи с Андреяном поведал) встретил обоих в Полярном: оба служили при штабе, заимели лычки на погонах, округлившиеся лица светились сытостью. Оказалось, что уже на сборном флотском пункте пришел отбой, армию Паулюса успешно окружали, а матросов разобрали по неукомплектованным командам. Рослые и ладные (как и все штрафники) добровольцы с Тороса приглянулись замначштаба подводников из Полярного, он и взял их к себе. Кому что на судьбе написано; на длинной войне человек приучается ничему не удивляться, не завидовать, по возможности не огорчаться. А флотский фатализм и вовсе хорошо известен.

* * *

И хотя Холлувэй во время бомбежек спускался в убежище, но скорее из компатриотства с земляками, Андреян его сразу выделил и на вахту старался ставить с собой.

В начале февраля сорок третьего, получив известие о победе под Сталинградом, Андреян, нарушив сухой закон, устроил для команды ужин со спиртом из НЗ, а для надежности на ночную вахту встал сам-друг с крепким на спиртное Асатурьяном. Кстати, на этом ужине союзники выставили от себя припасенные две бутылки шотландского, а Холлувэй пожаловался Андреяну на неблаговидность своей фамилии, пояснив, что означает она какую-то чертовщину навроде шабаша ведьм и сатаны.

По всей видимости, это очень и давно волновало Майкла. По его словам выходило, что фамилию эту дьявольскую предки его получили на своей родине — в сатанинском городе Солт-Лейк-Сити, где всем заправляют богопротивные многоженцы-мормоны.

...Последнюю стопку, стоя, выпили за великого Сталина (предпоследнюю пили за двух славных добровольцев с Тороса...). Черчилля, Рузвельта и короля Георга тоже вспомнили добрым словом.

* * *

Со второй половины февраля на залив пали долгие, едкие туманы, что стоят неделями. На это время война прекращается: отдыхают на норвежских аэродромах немецкие летчики, надводные корабли стоят у пирсов, только подводным лодкам туман не помеха.

В один из таких дней за обедом, исключая двух вахтенных, недосчитались Холлувэя. Учитывая, что во время плотного тумана по строжайшей инструкции за пределы веревочной ограды вокруг здания поста и хозслужб выходить не разрешалось, дело принимало серьезный оборот, тем более, что речь шла о союзнике. Случись что, за своего взгреют, а за союзника какие-никакие и погоны снимут со всеми неутешительными последствиями. Война на дворе...

Еще раз обыскали все помещения, затем, встав по периметру ограждения, с полчаса звали Майкла. Ответа не было. Андреян взял ракетницу — у нее хлопок громче — и осторожно ступил на полузаметенную тропинку, спускающуюся к воде. Видимость не более метра, то есть, и тропинку-то рассмотреть можно только наклонившись. Куда его к черту понесло? — Уже после окончания этой истории Майкл рассказывал, что, сменившись с последней ночной вахты, впал в хандру, которую он всегда испытывал в затяжные зимние туманы. Поев без аппетита на камбузе (на общий завтрак он из-за вахты не попал), он пошел в свой кубрик, лег на койку, но сон не шел. Оделся и вышел на воздух, сделал пару кругов вдоль ограды, затем ему послышался птичий гомон — и такое в туман случается, что утки прямо у поста усажи-

ваются в снег, — Майкл заинтересовался и вышел за ограду, а затем... затем он пять часов бродил по колено в снегу, когда замерзал, то вытаптывал площадку диаметром в полметра, прыжками согревался, брел дальше. Кричать он перестал уже через первые полчаса, охрипнув в сыром тумане.

Андреяну, семь лет пребывавшему в здешних местах, все было понятно и хорошо знакомо. Здешний туман настолько своеобразен, что его и сравнить-то не с чем; пресловутые лондонские туманы (по авторитетному свидетельству Джеймса Лэнга) и лично виденные ленинградские (Волховстрой, потом Кронштадт) ни в какое сравнение не идут. Кроме того, что они длятся неделями, туманы эти ядовито-едкие, обжигают бронхи и легкие даже при осторожном вздохе и настолько плотны, что ладонь вытянутой руки не видна — на глазах, как в сказочном фильме тает... Скольких людей в тех местах этот туман инвалидами сделал, а еще более и на иной, по сравнению со здешними местами, может и лучший, свет отправил? Но и здесь место для юмора найдется: когда Иосиф Виссарионович вернул армии погоны, то туман сыграл злую шутку именно с моряками. В отличие от воинов сухопутных, формы которых для младших офицеров и старших, тем более генералов, имеют массу заметных отличий: фактура сукна, форма зимних шапок, папахи у полковников, лампасы у генералов, сложная иерархия золотого шитья, нашивок, петлиц и пр. и пр.,— у моряков всех званий, начиная даже и с неофицера тогда — мичмана, форма единообразная, а в зимнем тумане даже единственное отличие — погоны — и то теряется.

Допустим, когда рядовой моряк или «ундер» в тумане примет широкоплечего лейтенанта за кавторанга и поприветствует того этим званием, то и моряку особо не обидно, а недавнему выпускнику военно-морского училища и вовсе бальзам на душу. Но когда старослужащий старшина откозыряет, став в полный фрунт, надвинувшемуся из тумана осанистому мичману, нареча его сгоряча каперангом, то это уже полный конфуз, а у «сундука» квадратная физиономия расцветится ядовитнейшей из ухмылок.*

...Самое скверное, что многодневный туман, порождение Гольфстрима, наводит на человека тоску, угнетает психику самых что ни на есть здоровяков тела и души, а иных во флот в те годы не брали. Даже собаки и кошки угрюмеют в эти туманы. Туман человека непривычного затягивает, гипнотизирует, как колдунья манит в свои тенета. Вступи, дескать, в меня, вступи, ничего страшного во мне нет! Действительно, входить в туман нестрашно, чувство опасности притупляется. Это как с движущимися автомобилями; светлым днем человек их опасается, дорогу не переходит, едва увидев появившуюся за пару сотен метров машину, но вот в вечерней или ночной темноте смело и неторопливо переходит широкое шоссе прямо перед светящимися фарами: потому что и самой-то машины не видно, одни веселые фары, а темнота скрадывает соразмерность пространства. Точно так же обманывает человека и густой туман.

* * *

Начавшаяся легкая поземка, из тех, что туман согнать не осиливает, но следы заметает, сделала тропинку к воде почти незаметной, но Андреян этот путь топтал не один год службы на Торосе. Вода языком выступала из тумана и лизала галечный берег. Андреян прошел от скалы до скалы, слева и справа на пару сотен метров обрамлявших этот единственный на островке «пляж». На крики отзыва не было. Он

---

* После «снятия» золота с офицерских погон и введения звездочек у мичманов в 60-х годах туманный самообман и вовсе принял гиперболические формы: запросто мичмана можно принять за вице-адмирала; старших мичманов за адмирала флота не принимают только потому, что последний редок и без свиты не появляется на людях...

поднялся обратным путем на гору и через четверть часа был на противоположном, но уже обрывистом берегу острова. Еще через час он приближался к самому отдаленному островному выступу. Кричать он тоже давно перестал: туман съедал все звуки в полусотне шагов.

Этот дальний выступ был и самым обрывистым, самым коварным. Абсолютно отвесные стены выступали из воды неимоверной глубины и высились на сотню метров. Наметенный за полузиму снег нависал козырьком над стеной: человек идет себе в тумане по ровному снежному полю и вдруг проваливается, летит сотню метров, уходит с головой в тяжелую, переохлажденную воду, мигом коченеет, у него сводит мгновенно руки-ноги, а начавшийся отлив тихо относит в море оледенелый труп...

Еще со времен устроения поста на острове берег этот опасный был помечен столбами-вешками. Андреян, проваливаясь по пояс в снежном насте, осторожно, ориентируясь по вешкам, появляющимся из тумана при ходьбе, обходил берег выступа. Окрики ощутимо тонули в тумане, однако у четвертой по счету вешки ему почудился ответный крик. Показалось? — Он накинул на столб заранее сделанную петлю взятого с собой тонкого фала* и, разматывая моток, осторожно двинулся в сторону обрыва. Через десять-пятнадцать метров на его окрик уже явственно отозвался сиплый, слабый голос Майкла. «Стейт! Стейт!» — закричал Андреян. «Йес, йес, Андрэй-ян!» — сипело, но уже, обрадовано, из тумана.

Андреян скорректировал курс, но через десяток метров фал закончился. «Ком цу мир!» — закричал Андреян, учивший в школе и техникуме немецкий. «Йес, понимай!» — отозвался Майкл. Дабы Холлувэй держал правильно курс и не тратить слов понапрасну, Андреян произнес краткую, но содержательную воспитательную речь, отборно пересыпанную матом. К концу ее из тумана вывалился Холлувэй, по пояс в заледеневшем снегу, посиневший лицом. Шапка была с опущенными «ушами» и завязана под подбородком. Для моряка это все одно, что штатскому выйти на улицу в кальсонах...

Уже на посту, после камбуза с оздоровительной стопкой, Холлувэй рассказал, что, выйдя на вешки, он вспомнил их назначение и пошел перпендикулярно линии вешек, полагая, что идет вглубь острова... Сопоставив длину фала, примерное расстояние между Андреяном и Майклом, коллективно вычислили, что идти бравому янки оставалось чуть более десятка шагов.

Холлувэй, чувствуя себя трагическим героем дня, растерянно улыбался, потом вскочил, схватил руку Андреяна в обе свои, сиплым голосом горячо произнес на одном выдохе длинную фразу, в которой упоминался «год», Андрэй-ян и почему-то Гитлер, правда, в неодобрительной интонации. Затем он исчез из камбуза и вернулся с довольно-таки массивной чайной ложкой с затейливыми виньетками и выпуклой надписью на черенке: *«U. S. Navy»*** , которую и вручил Андреяну.

В команде, где все и все друг о друге знают, было известно, что раньше Холлувэй служил на эсминце, который был в самом конце 41-го года, чуть ли не через неделю после объявления Германией войны Америке, потоплен немецкой подлодкой у берегов Англии. Англичане же и подобрали моряков, успевших надеть спасательные пояса. Из всех немудреных личных вещей моряка Майкл при спасении имел матросскую книжку и серебряную ложку, то есть то, что и носил всегда в бушлате. Книжка почти не промокла, ибо находилась во внутреннем кармане, да еще плотно прижата спасательным поясом. А ложку Холлувэй уже с полгода постоянно носил с собой — талисман; за полгода до гибели эсминца, последний попал в сильнейший шторм в Атлантике, и матрос Холлувэй, рискуя сам быть смытым, успел схватить за рукав

---

* Прочный, особым образом сплетенный трос (морск.).

** Флот Соединенных Штатов (англ.).

штурмана, вышибленного волной за борт, но успевшего схватиться за бортовой поручень. Офицер назвал его спасителем, выхлопотал Холлувэю медаль за мужество, а от себя подарил личную его чайную ложку из парадного прибора кают-компании. «Носи всегда с собой, серебро — лучший талисман для моряков; а если тебя кто спасет от неминуемой, то передай ему...» — напутствовал штурман, философ и фаталист в душе.

* * *

Андреян ложку-талисман в кармане не носил, но до самой своей кончины пил чай, любителем которого был страстным, по старой русской традиции, не вынимая ложки из стакана. Эта ложка была сугубо его личной, впрочем, будучи потомком калужских старообрядцев-поповцев из деревни Дворцы на том самом берегу реки Угры, где произошло знаменитое «противостояние на Угре», он, вольнодумец и материалист, в церкви бывший един раз в жизни — когда его младенцем грудным крестили, — он имел собственную тарелку, стакан, ложку и вилку. А завершив военную службу Отечеству, постоянно носил бороду.

Много событий, громких имен, вошедших в большую историю, сопутствовали жизни Андреяна, простого русского моряка. Беды и невзгоды переносил он со стоицизмом, в спокойное время расслаблялся душой, был незлобив и бескорыстен, всегда сам по себе, хотя отшельником не жил и не ощущал себя. Это и есть характер русского человека, ныне почти изжитый.

А живут люди на Земле-планете тесно, хотя их миллиарды. Андреян, Асатурьян, Гриша-кок, Джеймс Лэнг и Майкл Холлувэй, два сменивших друг друга командующих Северным Флотом, министр Косыгин, руководитель комсомола, а потом и партизан Карелии Андропов и многие, многие другие, наконец, и постоянно растущий в званиях политотделец Шулейко — какая судьба собрала их с разных концов света, а, что еще интереснее — с разных социальных ступеней, и свела в одно место и в одно время? Малой стала Земля...

Кстати, о Шулейко; бывает же так, что сведет судьба с человеком, обычно малоприятным тебе, и всю жизнь на него натыкаешься. Таким вот для Андреяна оказался Шулейко. В середине 48-го года Андреян, скрипя зубами, уже женившись и ожидая сына — нашего знакомца в будущем Николая Андреяновича, подсчитывал чуть ли не дни до увольнения: через полтора месяца должно было стукнуть ровно двенадцать лет службы, что давало право кадровому (то есть призванному еще до войны) на пенсию в тридцать лет; понятно, с учетом военных лет, службы в Заполярье и пр.

Само собой понятно, что пенсия его мало занимала, да и как она может всерьез интересовать тридцатилетнего человека, видного собой, отмотавшего десять с лишком лет, чуть не половину военных, да почти сразу после окончания войны, заставившей всех и все думать об иных ценностях?

Он был настроен снять старшинскую форму сразу после Победы, но многоопытный в жизни Асатурьян, который и сам не рвался в свой Армавир, посоветовал не торопиться, а сначала съездить на родину в отпуск. В родной деревне, полусожженной, маялась с детьми мал-мала меньшая сестра с похоронкой на мужа. А в Калуге — карточки, всеобщий разор, по вечерам и ночам шпанье свищет. Дядька, его воспитатель и самый удачливый из семейства, увы, помочь никому и ничем не мог; был он уже не полковником НКВД, но осужденным на двенадцать лет за должностное преступление; впрочем, это тема отдельного повествования.

Да и родня деревенская и городская, особенно повоевавшие мужики, в голос уговаривали: дескать, не дури, Андреян, были бы мы кадровыми, не задумываясь, в армии остались, переждать это лихое время в тепле, порядке и сытости!..

Андреян послушался и, догуляв отпуск, вернулся на службу, правда, каждое лето приезжал в отпуск. Служил он на посту СНИС'а, но уже в обжитом месте, недалеко

от Мурманска, прямо через залив напротив Североморска. Служил уже не старшим на посту — в мирное время начальники плодятся как грибы!

И дослужил бы до пенсии, но Шулейко, видно, предчувствуя расставание с опекаемым с довоенного времени, зачастил на пост и довел-таки Андреяна до того предела, что плюнул тот на пенсию и подал рапóрт об увольнении. Шулейко помог скоренько все оформить. Вот уж расчетливым и терпеливым ради этой расчетливости Андреян никогда не был, да и не стремился им быть.

Однако теперь семейному Андреяну на родину было возвращаться и вовсе не с руки, благо рабочих рук на Севере всегда не хватает, а руки у него росли из нужного места. Так и прожил он в тех местах до середины 60-х годов: подросли и стали заканчивать школу дети, пора было их вывозить на Большую землю. А тут кстати и обосновавшийся в Т. после отсидки дядька, бывший полковник НКВД, стал зазывать к себе. И зазвал, продав племяннику половину дома в спокойном и недальнем городском пригороде, при металлургическом заводе.

С каким же изумлением он как-то рассмотрел, садясь на автобус, полковника Шулейко, но уже в штатском. Тот тоже узнал в бородаче бывшего старшину. Из разговора выяснилось, что экс-политотделец живет тоже в собственном доме через две улицы, а работает начальником отдела режима на крупном заводе в центре города.

Позже, встречаясь на автобусной остановке, оживленно вспоминали северное житье-бытье. Шулейко про орден Георга — ни полслова, зато часто и со смехом вспоминал, правда, оглядываясь на пассажиров и понизив голос, как Андреян обстрелял из тяжелого пулемета Кольта катер с Косыгиным. Впрочем, это тоже отдельная история.

* * *

Наследство после Андреяна осталось немудреное, больше памятное. Николаю Андреяновичу — медали отца, одному его брату — семейный альбом, а третьему, самому непутевому, — серебряная ложка, которую в родительском доме, где он остался жить и который превратил в подобие шалмана, то ли украли веселые собутыльники, а может и совместно пропили.

Иной мир, иные времена, иные люди...

Геннадий Маркин
(г. Щекино)

МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

К вечеру Василию Ивановичу Ермолаеву стало хуже. Если днем он боль худобедно терпел, то ближе к вечеру в груди стало резать и жечь, будто какая-то невидимая злая сила разрывала на части его многострадальное сердце. Прибывшая по вызову «скорая» увезла старика в больницу. Не первый год лечивший Ермолаева врач-кардиолог Николай Владимирович Погуляв осмотрел больного, а затем присел рядом с ним на кровать и, нащупывая пульс, взял его за руку.

— Ну что это вы, Василий Иванович, вчера День Победы отпраздновали, а сегодня на больничную кровать угодили?

— Да вот, Николай Владимирович, сердце опять прихватило,— пожаловался ветеран,— у меня же осколок под ним, подарок от фашистов.

— Знаю я, что у вас осколок под сердцем, знаю. Мы же вам предлагали операцию, но вы не соглашаетесь.

— Да нет, Николай Владимирович, теперь уже ни к чему. Раньше меня этот осколок не беспокоил, а теперь я очень стар, боюсь, не вынесу операцию.

— Ну, Василий Иванович, тогда будем лечиться,— произнес доктор,— поколем укольчики, поделаем капельницы, а вам полный покой. Все тревоги и волнения — прочь! Одолеем мы с вами, Василий Иванович, этот осколок, одолеем.

«Милый ты мой доктор, Николай Владимирович! Разве дело в моем осколке? Осколок — что? Так, фашистская метка,— рассуждал мысленно Ермолаев, когда доктор вышел из палаты,— страшнее другие осколки. Злоба людская, ненависть, жадность, подлость превратили людские сердца в маленькие, холодные осколки-ледышки, которые никакой хирург не соберет воедино, не удалит из души, никаким теплом не растопит. И откуда столько ненависти? Особенно к нам, старикам? Ни милосердия тебе, ни сострадания. Живут, будто сами стареть не собираются. Вот и этот случай: взяли и обидели. Да что обидели,— оскорбили до глубины души... А за что? За то, что о своих правах осмелился напомнить. О тех правах, которые честно заслужил, пройдя нелегкий путь по огненным, фронтовым дорогам!» Василий Иванович вновь, в который раз, вспомнил о пережитом унижении.

Накануне Дня Победы он получил поздравительную открытку, да не от кого-нибудь, а от самого Президента России! В своем послании Президент благодарил старого солдата за ратный труд. Василий Иванович очень обрадовался посланию, даже решил написать письмо, в котором собирался поблагодарить Президента за то, что, решая важные государственные дела, нашел время для поздравления простого рядового солдата Ивана Ермолаева. «Ты, если письмо Президенту писать-то будешь, не забудь написать, что пенсии у нас маленькие, пусть немножко добавит, а то хочется иногда колбасы купить, а не на что,— говорили ему старики-пенсионеры во дворе дома, которым он показывал президентское послание.— Небось, не знает, что у нас

такие пенсии маленькие, небось, обманывают его там в Кремле-то!» А еще Василий Иванович получил открытку от главы города с приглашением его на празднование Дня Победы, которое состоится в районном доме культуры.

9 мая Василий Иванович проснулся рано. Достал из шкафа новый, как он его называл «парадный», костюм с прикрепленными к нему боевыми наградами, надел свежую рубашку, повязал галстук, побрызгался в честь праздника одеколоном и, став перед зеркалом, стал долго и придирчиво себя осматривать. Убедившись, что с гардеробом у него все в порядке, вышел на улицу. День был теплым и солнечным, и Василий Иванович не стал дожидаться общественного транспорта, пошел в дом культуры пешком. Знакомая улица встречала ветерана поклонами веток берез и лип, щебетанием птиц и ласковым весенним солнцем. На площади Василий Иванович увидел и других ветеранов, приглашенных в дом культуры. Некоторые были в военной форме, в основном это — ветераны-офицеры, а многие, как и он в штатском, но, несомненно, все с медалями и орденами. Ветераны стояли под вывешенными в честь праздника Красными Знаменами и ожидали приглашения в дом культуры.

— А что же музыка не играет? — спросил Василий Иванович у знакомого ветерана.

— А кто ее знает? — ответил тот.

— Я люблю, когда военная музыка играет, особенно мне нравится «Марш Победителей»,— проговорил Василий Иванович.— Я под звуки этого марша всегда своих боевых товарищей вспоминаю, освобождение городов вспоминаю, последний свой бой вспоминаю. Мы тогда в Берлине почти у стен рейхстага стояли, когда меня ранило, а командир батальона Герой Советского Союза майор Новиков...

В это время из дверей дома культуры вышла женщина и, не дав договорить Ермолаеву, пригласила всех в зрительный зал. После поздравления ветеранов главой городской администрации зазвучали песни военных лет в исполнении участников художественной самодеятельности, а затем всех пригласили в буфет, где ветеранов ждал праздничный обед с традиционными фронтовыми ста граммами водки. За разговорами и воспоминаниями о суровых фронтовых буднях время пролетело незаметно, и, как бы ни хотелось расходиться, все потянулись к выходу. На улице для приглашенных ветеранов подали автобус, на котором всех довезли до дома, а находившаяся в салоне женщина каждого ветерана проводила до квартиры и еще раз поздравила с Днем Победы! «Какая замечательная и добрая кондуктор, обязательно завтра же напишу в газету слова благодарности работникам пассажирской автоколонны за заботу о нас — ветеранах!» — решил Василий Иванович.

На следующий день Василий Иванович собирался съездить к дочери, которая со своей семьей жила в областном центре. На вокзале он сел в полупустой автобус и отправился в путь. В автобусе работала кондукторша, и он вспомнил, что собирался через газету поблагодарить работников автохозяйства, решил по возвращении от дочери заняться этим вопросом. Вскоре выехал за город, и кондукторша, отрывая пассажирам билеты, подошла к Василию Ивановичу, который привычно достал удостоверение участника войны и протянул кондуктору.

— У нас удостоверения не действуют,— спокойно, даже не взглянув в книжечку, проговорила кондукторша.

— Это почему не действуют? — спросил Василий Иванович.

— У нас рейс коммерческий.

— Как понять коммерческий? — не понял ветеран.

— Коммерческий — это значит без льгот.

— Почему это без льгот?! Я участник войны и имею право на бесплатный проезд.

— Я же вам объясняю, что у нас рейс коммерческий!

— Это почему у вас коммерческий рейс?!

— Хватит лишние вопросы задавать! — вдруг сорвалась на крик кондукторша,— плати за билет или выходи из автобуса,— перешла она на «ты»

— Ты, дочка, не шуми, а лучше объясни мне, старику, почему мне бесплатно ехать нельзя?

— Я уже объяснила, что этот рейс коммерческий! Мне некогда стоять и каждому объяснять. Я перед отправлением всем объявила.

— Я не слышал.

— Дома нужно сидеть, если глухой! Будешь платить за проезд?

Василий Иванович полез было за деньгами в карман, но вспомнил, что кошелек-то он в «парадном» пиджаке оставил.

— Наверное, не буду,— заулыбался Василий Иванович.

— А он еще, ощерясь, сидит! — в гневе произнесла кондукторша.— Валера, останови автобус! Будем стоять, пока этот не заплатит за проезд,— показала она на Ермолаева.

Валера остановил автобус, заглушил двигатель, закурил и безучастно уставился в окно. По радио звучала музыка военных лет. Полная женщина что-то шептала малышу на ухо, и тот беззаботно улыбался, интеллигент в галстуке, не поднимая глаз читал газету, толстый молодой человек нервно посматривал на часы, остальные пассажиры, молча смотрели в окно.

— Ну что, так и будем стоять? — наконец-то не выдержал толстяк.

— Будем, пока старик не заплатит,— твердо заявила кондукторша.

— Дед, давай плати! — обратился толстый к Василию Ивановичу.

— Понимаете, так получилось, что я забыл взять деньги,— обратился Василий Иванович к кондуктору.

— А если денег нет, нужно было ждать льготный автобус, а не садиться в коммерческий,— ответила она.— Выходи из автобуса!

— Дык, куда же выходить-то? Довезите хотя бы до следующей остановки, а я там льготный автобус подожду,— попросил ветеран.

— Дед, выходи отсюда, что мы из-за тебя стоять будем? — не выдержал водитель автобуса Валерий.— Я план не сделаю, а мне тоже семью кормить надо, привыкли тут своими удостоверениями трясти!

— Мужчина, ну что вы в самом-то деле всех задерживаете? — недовольно проговорила молодая женщина с ярко накрашенными губами,— нам же всем ехать надо!

— Давай, дед, на выход с вещами! — покраснел от гнева толстяк.

Под недовольными и гневными взглядами людей Василий Иванович как-то робко, по-черепашьи втянул голову в плечи, как никогда не втягивал даже на фронте под пулями и, обращаясь ко всем, тихо произнес:

— Довезите хотя бы до следующей остановки.

— Выходи из автобуса! — угрожающе закричал толстый.— Тут до остановки осталось триста метров, дойдешь. До Берлина дошел и до остановки дойдешь. Давай маршируй!

Не помня себя от обиды и стыда, Василий Иванович вышел из автобуса. Как в насмешку над ним в это время по радио зазвучал его любимый «Марш Победителей».

В груди у Василия Ивановича неприятно кольнуло, к горлу, мешая дышать, подкатился ком, в глазах потемнело. «Нужно обязательно дойти до остановки»,— решил он и медленно, останавливаясь отдышаться при каждом шаге, побрел в сторону остановки. Мимо проносились автомашины, водителям которых не было никакого дела до медленно идущего вдоль дороги старика. Дойдя до остановки, Василий Иванович опустился на корточки и прислонился спиной к грязному, заляпанному объявлениями остановочному павильону. Боль в груди усилилась.

— Что, дедок, видать после вчерашнего праздника уже успел опохмелиться? — услышал он мужской голос.

Василий Иванович увидел рядом с собой улыбающегося парня. «Сердце,— почти простонал Ермолаев,— сердце... вызовите «скорую»...»

Парень некоторое время испуганно смотрел на скорчившуюся фигуру старика, а затем выскочил на дорогу и отчаянно замахал руками, останавливая все подряд, проезжающие мимо машины. Вскоре остановилось такси. Водитель посмотрел на старика, а затем обратился к парню:

— Полтинник до города.

— Да ты что ошалел?! — возмутился парень,— тут до города ехать десять минут.

— Мы пьяных не возим. Или полтинник, или я поехал!

— Да он не пьяный, у него сердце прихватило, наверное.

— Я отдам,— простонал Василий Иванович,— поехали ко мне домой, там сын, жена, сноха — они отдадут...

В палату, стараясь не шуметь, вошла медсестра. Разложив, молча на тумбочки для больных лекарства и проверив у Василия Ивановича капельницу, она вышла. «А кондукторша-то совсем еще девчонка, да и водитель тоже парень молодой. Откуда же у них столько злобы? Когда же в их душах успело столько зла накопиться? А толстый готов был меня из автобуса силой вышвырнуть. И вышвырнул бы. На глазах у всех вышвырнул бы, и никто ему слова не сказал бы! — размышлял Василий Иванович, когда медсестра вышла из палаты.— Вот жизнь-то, наступила какая?! Разве мы тогда в окопах могли подумать, что вот так с нами — фронтовиками — обращаться будут? Думали: вот разобьем фрица, вернемся домой, и жизнь другая наступит, а оно вона как! Развратили молодежь развратом, деньгами, жестокостью. Да что молодежь?! Взрослые, пожилые люди — и те туда же! Вся жизнь звериной стала! А молодежь что осуждать? Что посеяли, то и пожинаем! Неужели и внуки мои такие же жестокие растут? Неужели и у них вместо сердец холодные осколки в груди! Нет, нет! Я не хочу! Я не хочу даже думать об этом! Не верю, что они вот так со стариками поступить могут! А если смогут? Тогда лучше не жить, тогда лучше бы меня в Берлине вместо майора Новикова миной разорвало...» Василий Иванович тяжело вздохнул и, как-то неестественно запрокинув голову назад, закрыл глаза. Боль куда-то отступила, и на сердце у него вдруг сделалось легко, беззаботно и радостно...

Их стрелковая рота была прижата к земле шквальным пулеметно-минометным огнем. Свое догорающее логово фашисты обороняли отчаянно. Мины с немецкой аккуратностью ложились одна к одной, то и дело, накрывая кого-нибудь из бойцов роты. Со второго этажа почти не потревоженного войной здания роту в буквальном смысле слова косил немецкий пулеметчик. Сержант Василий Ермолаев попластунски добрался до остова сгоревшего немецкого автомобиля и, укрывшись за черными от копоти дисками колес, стал вести прицельный огонь из автомата по немецкому пулеметчику. Но застилавший всю берлинскую улицу черный дым лез в глаза и не давал никакого шанса на точность ведения огня. Рядом, за останками развороченной взрывом пушки и какими-то горящими балками и бревнами, лежали цепью бойцы роты во главе с командиром лейтенантом Воронцовым. Лязгая гусеницами, подъехал наш танк, за броней которого, укрывшись, шли в атаку бойцы под командованием командира батальона, Героя Советского Союза майора Новикова.

— Воронцов! Чего лежишь? Уводи бойцов из-под минометного огня! — пытаясь перекричать грохот выстрелов, приказал Новиков.

— Не могу, товарищ майор, слева немецкий пулеметчик не дает! — не поднимая головы, прокричал в ответ растерявшийся Воронцов.

— Лейтенант! Поднимай роту, говорю! Уводи бойцов в укрытие! — срывая голос, вновь крикнул ротному комбат.

Подняв столб пыли и выпустив из ствола сноп пламени, выстрелил танк, и немецкий пулеметчик вместе с потолочным перекрытием и кирпичной кладкой рухнул

вниз. В это время из-за укрытия мгновенно выскочил немецкий фаустник и метким огнем разорвал танковую гусеницу. Второй выстрел он сделать не успел, попав под меткий огонь сержанта Ермолаева. Из приоткрывшегося такового люка показалось черное от копоти лицо танкиста.

— Пехота! — крикнул танкист, обращаясь к комбату,— впереди фаустники! Надо их выбить, иначе они меня сожгут!

Подняв бойцов в атаку, комбат Новиков повел их на вражеские позиции. Отстреливающиеся гитлеровцы вскоре стали отступать, и в это же время, когда исход боя был фактически решен, рядом с комбатом Новиковым разорвалась вражеская мина. Шедшего рядом с комбатом в атаку сержанта Ермолаева взрывной волной подняло в воздух и с силой бросило на берлинскую брусчатку. Василий попытался подняться, но огнем обожгло грудь, и гимнастерка моментально набухла теплой и липкой жидкостью. В глазах у него потемнело, и наступила полнейшая тишина...

Вдруг откуда-то издалека, сначала тихо, а затем все громче и громче зазвучал «Марш Победителей». Из яркого солнечного света вышел строй солдат и, чеканя шаг под звуки Победного марша, промаршировал по мостовой.

Василий Иванович Ермолаев толкнул шедшего рядом с собой в строю солдата.

— А вчера, на День Победы, «Марш Победителей» не звучал, скучно было.

— Зато сегодня весело звучит,— заулыбался солдат.

— Сашка! Ты?! — обрадовался Василий Иванович.— Тебя же в Белоруссии во время рукопашной схватки фриц штыком заколол!?

Сашка шел и улыбался, а изумленный Василий Иванович повернулся к другому солдату.

— Алексей?! — вновь удивился он,— а ты как здесь оказался? В тебя гитлеровец под Бобруйском автоматную обойму разрядил!

— Посмотри вперед, Ермолай! — улыбаясь, проговорил Алексей.

Впереди, во главе солдатского строя, шел командир батальона, Герой Советского Союза майор Новиков, он, как и прежде, вел свой батальон. Василий Иванович был счастлив, он шел в строю, а рядом были его боевые товарищи. Под звуки марша победители шли туда, где разноцветными радужными огнями переливался победный салют, где ослепительно светило солнце и яркими алыми тюльпанами цвели сады. Они шли в бессмертие.

ВАСЬКА

Автоматные выстрелы и разрывы снарядов раздавались со стороны леса. Бой то затихал на некоторое время, то вновь начиналась автоматная трескотня, приглушенные хлопки пулеметов и уханье минометов.

Накануне расквартированные в деревне немецкие солдаты были приведены в боевую готовность. Немцы что-то кричали друг другу, бегали из хаты в хату, забирали у деревенских жителей последние продукты, а вечером в деревню вошли дополнительные немецкие части. Впереди огромных пятнистых с черными крестами машин и мотоциклов ехала черная легковушка, в которой сидел толстый, в очках на крючковатом носу, немецкий полковник Фриц Шерер. Всю дорогу он смотрел в окно и молчал. Последние несколько дней у него не было настроения. Он получил взбучку от генерала барона фон Мегеля за то, что в зоне его ответственности уже около недели безнаказанно действует заброшенное в их тыл подразделение русских разведчиков. Они взорвали стратегически важный железнодорожный мост через реку, сожгли несколько цистерн с топливом для немецких танков и самолетов, уничтожили целое подразделение комендатуры вместе с комендантом.

Несколько дней усиленного поиска разведчиков никаких результатов не дали, и вот, наконец, как сообщила немецкая разведка, русских диверсантов видели на краю лесу у деревни Бобрышовка, жители которой и наблюдали с испугом из своих домов, как из больших крытых брезентом машин, побрякивая оружием, на землю выпрыгивают немецкие солдаты. За день до этого по деревне прошел слух, что должны прийти немецкие карательные части, и всех жителей расстреляют, а саму Бобрышовку сожгут.

Ночью, когда в очередной раз перестрелка в лесу усилилась, в крайний от леса дом, где жила семья Ивановых, вошли немцы. Один, маленького роста, с болезненным видом и красными от постоянного недосыпания глазами, солдат посмотрел на хозяйку дома Анну и прижавшегося к ней испуганного одиннадцатилетнего Ваську.

— Матка, пистро! — проговорил он и неопределенно махнул рукой.

Не поняв, чего от нее хотят немецкие солдаты и, опасаясь самого худшего, Анна еще сильнее прижала к себе Ваську.

— Пистро, пистро! Шнель! Зольдатен паф, паф! Хаус пф-ф-ф-ф! — немец показал рукой на потолок дома и развел руки в разные стороны, как бы изображая взрыв.— Пистро, матка, шнель, шнель! — выставил он палец в сторону находящегося во дворе дома погреба.

Решив, что немцы собираются сжечь дом, Анна заголосила и, обхватив Ваську, побежала с ним в погреб. В погребе было сыро и холодно, но ни Анна, ни Васька холода не замечали, они все ожидали, что скоро заполыхает их дом, но, кроме раздававшихся в лесу выстрелов, никаких изменений не происходило. Бой в лесу продолжался очень долго.

— Мам, наверное, это наши солдаты наступают,— тихо проговорил Васька.— Скорее бы они выгнали этих проклятых фрицев из нашей деревни.

— Да разве их выгонишь?! Вон их, сколько на машинах понаехало! — как взрослому ответила Анна.

В это время сквозь выстрелы и разрывы стало доноситься мычание коровы. Анна прислушалась.

— Так это же наша Буренка мычит! — с тревогой проговорила Анна и бросилась к выходу, но Васька вцепился в мать обеими руками.

— Мамочка, миленькая, не открывай дверь, а то вдруг какая-нибудь пуля в подвал залетит и тебя или меня убьет, что же мы тогда друг без друга делать будем?! — быстро запричитал Васька и Анна, опомнившись, остановилась.

— Ты никуда не пойдешь? — с испугом в голосе спросил Васька.

— Никуда,— ответила Анна. Но Васька не поверил матери, и еще долго держал ее в своих не по-детски крепких объятиях.

Стрельба в лесу прекратилась неожиданно. Только что была слышна яростная перестрелка, и вдруг все стихло. Анна с сыном из подвала не выходили до тех пор, пока дверь не отворилась и в проеме показалась фигура того самого солдата с красными глазами.

— Матка, битте! — проговорил он.

Был уже полдень, немцы стояли небольшими группами и о чем-то оживленно разговаривали, размахивая при этом руками и смеясь.

— Матка, руссишь партизанен капут! — проговорил красноглазый и заулыбался.— Капут! Паф, паф,— поднял он вверх палец руки.

Анна с Васькой прошли в дом.

— Мам, они что, наших солдат убили? — спросил Васька.

Анна промолчала.

— А папы там не было? — не унимался Васька.

— Не говори глупостей! — строго глядя на сына, проговорила Анна.— Твой папа воюет и обязательно победит.

Не смотря на то, что дом Ивановых находился недалеко от леса, их хозяйству никакой ущерб причинен не был, если не считать того, что, испугавшись выстрелов, выскочила из хлева и куда-то убежала корова. Поняв, что без этой единственной кормилицы не выжить, Анна отправила Ваську на поиски коровы, сама же она лишний раз немцам на глаза старалась не показываться.

Походив в поисках коровы по деревне, Васька уже ближе к вечеру спустился в лощину. Ему очень хотелось сходить в лес и посмотреть на то место, где ночью шел бой, но мать строго настрого запретила ходить ему в сторону леса.

В лощине на бревне сидели немцы и жгли костер. После уничтожения разведывательной группы русских они были в хорошем настроении. Увидев Ваську, один из них крикнул ему. Васька подошел, а немецкий солдат достал губную гармошку и стал на ней играть и что-то объяснять, но Васька ничего не понимал. Тогда немец усадил Ваську рядом с собой и, достав из костра печеную картофелину, протянул ее мальчику. Васька был голоден и картошку взял. Она пылала с жару и обжигала ему руки. Васька стал быстро разламывать картошку на маленькие кусочки и, не очищая кожуры и золы, стал запихивать к себе в рот, и, почти не прожевывая, глотать. Немцы захохотали и стали доставать из костра еще картофелины и протягивать их Ваське, а один из них подарил ему свою губную гармошку.

Вскоре со стороны деревни к немцам прибежал посыльный солдат, что-то им сказал, и все находившиеся у костра солдаты поднялись и пошли в сторону деревни, кое-как объяснив Ваське, что ему нужно продолжать подкладывать в костер поленья дров, которые лежали здесь же. По всей видимости, немцы собирались вскоре вернуться обратно. Васька так и делал. Он подкладывал дрова в костер и смотрел на пламя, представляя себе, как в таком же пламени горели в лесу от немецких огнеметов наши разведчики. Ваське вдруг стало жалко разведчиков, жалко своего отца, который так же, как и разведчики может где-нибудь погибнуть. Жалко мать, которую немцы заставили всю ночь просидеть в холодном и темном подвале, жалко свою Буренку, которую теперь в лесу наверняка задерут волки.

От обиды и своего бессилия чего-либо изменить и как-то отомстить фашистам за те беды, которые они принесли жителям его деревни, Васька в ярости бросил в костер подаренную ему губную гармошку. Она вспыхнула, ее металлические бока с нарисованной на них фашистской свастикой стали плавиться, и, наконец, издав последний, похожий на шипение змеи звук, гармошка превратилась в черную горящую головешку.

Дровяные поленья вскоре закончились, и, испугавшись, что костер потухнет, Васька стал ходить вокруг костра и собирать для него валявшиеся деревяшки. Вдруг он увидел в стороне от костра аккуратно сложенные немецкие снаряды и, остановившись, стал с интересом их рассматривать. Ему в голову пришла идея: бросить снаряды в костер. Васька прекрасно понимал, что за такую выходку немцы обязательно его накажут, могут даже и расстрелять, но отказаться от своей затеи он уже не мог. Посмотрев по сторонам и убедившись, что его никто не видит, Васька стал носить снаряды к костру и аккуратно складывать их в огонь. «Десять»,— подсчитал он, когда последний снаряд исчез в раскаленной докрасна золе. Васька хотел уже идти домой, но в это время он услышал немецкую речь, и увидел, что к костру возвращаются немецкие солдаты. Среди них был толстый немец, что приехал в деревню на черной легковушке. Его Васька узнал сразу. Только на этот раз он был без очков и с перевязанной головой. Немцы что-то стали говорить толстому и показывать на Ваську и горящее пламя костра, а толстый немец в ответ кивал головой и улыбался.

— Дяденьки, мне домой пора, мамка ругаться будет,— жалобно заговорил Васька и стал медленно отходить от костра.— Поздно уже, дяденьки, меня мамка ждет,— но немцы уже не обращали на него никакого внимания, они о чем-то разговаривали и показывали руками на стоявший стеной темный лес.

Скрывшись в темноте, Васька, что было силы, побежал домой. Когда он подбегал к своему дому, в лощине, в том месте, где горел костер, рванули снаряды, да так, что содрогнулась земля, а над деревней что-то со свистом и шипением пролетело. Васька пулей влетел в дом, а потерявшая всякую надежду увидеть сына в живых Анна влепила ему сгоряча подзатыльник, а затем прижала к себе и со слезами на глазах, обессилевшая от пережитого, опустилась на пол.

А в том месте, где горел костер, еще долго со свистом и шипением, как победный салют, взрывались и взлетали вверх уложенные Васькой снаряды. Они, оставляя в темном небе огненные шлейфы, догорающими головешками медленно падали в образовавшуюся от взрыва огромную воронку, в которой нашли свое последнее пристанище так и не победившие Ваську вражеские солдаты.

Валерий Маслов
(г. Тула)

ДАЧНЫЙ РОМАН

Известный тульский писатель-прозаик, автор многих книг, изданных в России и за рубежом (Израиль, Грузия, Черногория). Заслуженный работник культуры России, председатель Тульского Фонда поддержки творческой интеллигенции, руководитель Тульского отделения литфонда, председатель межрегионального Союза писателей России. Публиковался в журнале «Приокские зори».

— Пап, где у нас ведро с червями? — донеслось с соседнего дачного участка.

— Какая проза жизни! — недовольно произнес Эдуард Евгеньевич и закрыл створки окна террасы, на которой расположился с неизменным ноутбуком, чтобы писать очередное нетленное произведение русской литературы.

В это время сильная молния прорезала небо, словно хотела разделить его надвое, а затем раздался страшный треск и гул запоздавшего грома. Эдуард Евгеньевич выглянул в окно и увидел, как огромная свинцовая туча грозно нависла над всем дачным поселком. Казалось, она вот-вот ляжет на крыши домов и прижмет их к земле, коснется налитыми водой крыльями кустов и деревьев, прольется мощным ливнем. Но, странное дело, в террасе было очень светло. Оказывается, солнце, спустившееся за долгий летний день к самому краю земли, умудрилось найти прореху в мрачной, тяжелой туче, и теперь окрасило ее восточную сторону парчовыми бликами.

«А не пора ли пить чай? — подумал писатель.— Где там наша сношенька?»

— Лизонька! — крикнул он.— Пора чаевничать!

На террасу вошла девушка лет двадцати пяти с красивым выразительным лицом и точеной фигуркой. В руках у нее был поднос с чашками, чайником и домашним вареньем.

— Попробуйте клубничное, Эдуард Евгеньевич: сама варила.

— Вернее будет сказать: земляничное, Лизонька,— поправил сноху тесть.— В культуре человек возделывает землянику.

— Так она в лесу растет. А на дачах сажают клубнику. Викторией называют.

— «Виктория» — это, всего лишь, название одного из бесчисленных сортов земляники. Фестивальная, Солнечная, Гигантская *et cetera, et cetera*.

— Все-то вы знаете! А можно мне с вами чай попить? Владик вечно в своем бизнесе — про меня совсем забыл! Вот, говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Но он вовсе на вас не похож!

— Ой ли? Если ты судишь обо мне и сыне только по тому, как и что мы говорим, то глубоко ошибаешься: человек и его слова живут врозь,— воскликнул Эдуард Евгеньевич и внимательно посмотрел на сноху: мужчина, особенно творческий человек, всегда интересуется женщиной, которая его хвалит и слушает.

Он вдруг обнаружил, что девушка очень хороша собой: тонкая талия, стройные, загорелые, гладкие ноги, нежные, полновесные груди, обтянутые легким платьецем...

К тому же, Лиза, оказывается, очень похожа на его первую институтскую любовь! Возможно, эти открытия Эдуард Евгеньевич сделал оттого, что они впервые всей семьей проводили лето на даче: расслабляющая истома и ничегонеделанье жарких вечеров, ошеломляющий, осязаемо плотный запах цветущих трав и кустарников, шашлыки и обильные возлияния способны разбудить любое дремлющее чувство.

— Не в этом суть: с вами интересно, а с Вадиком буднично и серо, словно живешь в позолоченной клетке.

— Но, но! — погрозил Эдуард Евгеньевич снохе.— Все-таки он мне — сын!

В это время у ворот дачи раздался звук подъехавшего автомобиля.

— Иди, встречай,— сказал писатель.— И будь с ним, пожалуйста, поласковее.

Лиза, как показалось хозяину дачи, с неохотой поднялась из-за стола, где они так весело и интересно беседовали, и неторопливо пошла к воротам.

Писатель задумчиво посмотрел вслед уходящей Лизе и вдруг громко воскликнул:

— Вот, он — сюжет, которого так не хватало в моей повести! Герой видит в жене сына давнюю любовь! Та же внешность, черты характера! Словно, и не было двадцати прошедших лет: он — зрелый, состоявшийся человек, а его пассия все так же молода и привлекательна. «Мне потребовалась целая жизнь, чтобы понять, что я люблю тебя». Нет, пошло! А, может быть, так? Гениально!

Эдуард Евгеньевич склонился над ноутбуком и начал набирать текст, которому, по его мнению, предстояло стать бессмертным.

Они уже давно лежали в постели, а сон к Вадиму так и не пришел.

— Ты меня больше не любишь? — неожиданно, глухим от волнения голосом, спросил он жену.

— С чего ты взял, Вадик?

— Чувствую. Кто у тебя есть еще?

— Я люблю только тебя. Но ты не маленький и должен понимать: из всех вечных вещей любовь длится короче всего.

Вадим резко повернулся к жене, схватил ее за голову и попытался посмотреть прямо в глаза. Но Лиза увернулась. Затем холодно чмокнула его в лоб и сказала:

— Поздно, пора спать. Тебе завтра рано на работу.

Утро сегодня выдалось чудесным. Ласковое солнышко приятно грело землю и воздух, напоенный ароматами цветущих трав. Птицы, хоть и поумерили в июне певчий запал, продолжали радовать душу бесконечными трелями. А сплошные заросли зелени вокруг дома наполняли душу спокойствием и умиротворенностью, которой никогда не испытаешь в душном, пропыленном летнем городе.

Как всякий настоящий художник слова, Эдуард Евгеньевич любил природу в своей первозданности. Поэтому, за небольшим, тщательно подстриженным, по настоянию сына, газоном, находилась девственная чаща. Огромные лопухи привольно расположили почти метровые листья, крапива устремила жгучие стебли вверх, а небольшой островок зарослей Иван-чая радовал глаз лиловыми и сиреневыми кипарисовыми соцветиями. А его любимая собака Джуля разлеглась у самых ног, подставив ласковому солнышку черный, влажный пупырышек носа и кипенно-белые передние зубки. В такие утренние часы ему всегда хорошо работалось. Он был «жаворонком», и предпочитал «творить» с утра. Но, только расположился за ноутбуком, как в кабинет вошла Лиза.

— Я вам кофе принесла,— приветливо произнесла она, ставя на стол поднос.

— О, напиток богов! — радостно ответил писатель.— Все мои герои постоянно пьют кофе и находят в этом большое удовольствие. Как говорится, трудно устоять перед женщиной, которая приносит тебе кофе в постель. Шучу.

Лиза пытливо посмотрела на Эдуарда Евгеньевича, но с разочарованием отвела взгляд: он, действительно, шутил.

— Вы сегодня в хорошем настроении!

— Да, это верно. И причина того — ты.

— Я?! — не поверила Лиза. Затем, помедлив, кокетливо раздвинула края ворота платья, чтобы сильнее обнажить грудь, и наклонилась над сидящим за столом писателем, словно собралась придвинуть ему чашку с кофе.

— Ты меня неверно поняла. Просто, наш вчерашний разговор подкинул мне отличный сюжетный ход для романа. Впрочем, не будем пока говорить об этом.

Лиза резко выпрямилась и задела рукой чашку с кофе. Коричневый напиток растекся по столу, попал на клавиатуру ноутбука и рубашку Эдуарда Евгеньевича.

— Что ты наделала! — закричал рассерженный писатель.— Если он сгорит, то все пропало!

— Что сгорит, и что пропало, папа?

— Мой новый роман! Я даже не успел сделать запасную копию на флэшку!

— А я думала, что сгорит новая любовь,— иронично заметила Лиза.— Снимите рубашку — я отстираю пятна от кофе.

Он одним движением смахнул с себя белоснежную сорочку. Лиза невольно залюбовалась обнаженным мускулистым торсом далеко еще не старого мужчины. Затем взяла салфетку:

— Давайте, промокну кофейные пятна с тела: нельзя портить такой красивый загар...

— Я не помешаю? — раздался насмешливый голос сына.

Эдуард Евгеньевич вздрогнул, а Лиза отпрянула от него так резко, что чуть не упала.

— Лиза, собирайся. Мы переезжаем на городскую квартиру.

Полуденное лето морило дачников невыносимой жарой, тропической духотой и ядовито-кусачими комарами. Эдуард Евгеньевич расположился в беседке под могучей лиственницей, которая веерными ветвями с изумрудно-зелеными иголками благополучно спасала пиита от этих напастей.

— Съесть мне заломной сельди под водочку с томатным соком или нет? — проговорил он вслух и поглядел на мгновенно запотевший графинчик с горячительным напитком, вынутый из холодильника.— С одной стороны, пить в такую жару, вроде бы, нельзя. С другой,— зачем отказывать себе в удовольствии? Ведь жизнь — это мгновение. Завтра Господь Бог может и не дать выпить.

«Конечно, мне только сорок пять,— продолжил он размышления.— Следовательно, прошла всего половина жизни. Я, как говорится, мужчина в самом соку. Не зря же Лизка на меня заглядывается...»

— Дзинь, динь! — раздалась трель вызова домофона.

— Кого это нелегкая принесла? Выпить нельзя спокойно, не то, что роман написать!

— Это я, Лиза! — раздался нежный голосок в динамике приемного устройства.— Владик ключ от дачи забрал, вот и приходится звонить, чтоб открыли.

«Незваный гость лучше татарина? — с сомнением подумал писатель и нажал кнопку открытия калитки.— Впрочем, Лизка может составить компанию: пить одному — это нонсенс!»

— Приехала ягод набрать,— объяснила неожиданный визит сноха.— Можно, я кофточку сниму — такая жара, что даже собственная кожа кажется тяжелой.

Эдуард Евгеньевич посмотрел на грудь Лизы, чтобы оценить правильность ее слов, и, невольно, облизнулся. Молодая, гладкая, без единой морщинки кожа девуш-

ки завораживала, притягивала взгляд, настойчиво приглашала прикоснуться к ней, погладить, поласкать.

Писатель мотнул головой, словно отталкивая назойливое наваждение, и показал на графинчик с водкой.

— Я решил проверить китайскую мудрость: можно ли подобное побороть подобным, то есть жару — горячительным напитком. Составишь компанию?

Лиза кивнула, и хозяин дачи налил в хрустальные фужеры водки, затем добавил томатного сока. Они молча выпили, и почти одновременно поставили на стол фужеры, не прикоснувшись к закуске.

— Воркуете, голубки? — неожиданно раздался голос Вадима.— И даже водку пьете? Народ для разврата готов?

— Вадик, опомнись! — тихо произнес отец.— Что ты говоришь?!

— Лиза — домой! — скомандовал муж.— Вот тебе ключи от машины, и чтобы ждала меня там.

Девушка покорно взяла ключи и пошла к воротам дачи. Вадим тяжело опустился на стул, плеснул в фужер водки и с размаха опрокинул его содержимое в рот. Затем быстро вынул из кармана брюк пистолет и направил его на отца:

— Рассказывай, батя,— приказал он.— Я все знаю.

— Это — она! — испуганно пролепетал Эдуард Евгеньевич.— Это все Лизка, стерва! Ты же знаешь этих баб: если приспичит, они своего добьются... Это — наговор! Она все врет!

Но Вадим вдруг опустил руку с пистолетом и медленно, четко произнес:

— Она мне — ничего не говорила.

Эдуард Евгеньевич вытер обильно проступивший пот и с облегчением вздохнул:

— Вот, дурак! Сам на себя наговорил!

Но сын его уже не слушал: он шел к машине, в которой ожидала жена. Эдуард Евгеньевич быстро выпил полный фужер водки. Вкупе с томатным соком, она сразу принесла ему чувство легкости и спокойствия.

«Все образуется,— подумал он.— Главное, не паниковать: я знаю правду, а сын — нет. А предвидеть — значит, управлять!»

К удивлению Лизы, муж на этот раз не стал скандалить. Он даже не задал дурацкий вопрос о том, верна ли она ему. Женщины очень доверчивы. К тому же ей так хотелось, чтобы все само собой образумилось, как-то рассосалось, что она поверила в то, в чем никак нельзя было быть уверенной. Правда, время от времени в голове возникал единственный вопрос, который задал Вадим: «Как ты с этим будешь жить?» Но Лиза так упрямо отгоняла его от себя, что через некоторое время забыла о нем.

Дома Вадим лег отдельно, на диван. Но ночью не выдержал и тихонько пробрался под одеяло к жене.

Лиза его приняла безропотно. Под влиянием пережитого, взаимных упреков и слез, они провели такую бурную ночь, словно только накануне расписались.

— Ты меня любишь? — с придыханием, тихо шептал Вадим.— Скажи: ты любишь только меня?

— Да, глупенький, да! Ну, к кому ты приревновал?! Он мне в отцы годится!

— К тому же, он трусливый и ненадежный,— радостно согласился муж.— Знаешь, как испугался, как тебя обзывал!

— Я его не люблю,— вдруг буднично и холодно произнесла Лиза. Она встала с кровати, подошла к окну и нервно затянулась сигаретой.

«Вот и ладненько!» — сказал Вадим.

Он, видимо, так ждал этих слов, что расслабился, заулыбался, затем сладко зев-

нул и повернулся к стене. Через несколько минут Лиза услышала его мерное дыхание и сладкое постанывание во сне: наверняка, мужу снилось что-то очень приятное.

Вадим не мог поверить своему счастью: Лиза стала такой прилежной женой, что готовила и подавала завтрак ему в постель. Сегодня у него был напряженный день: планировалось подписание выгодного контракта с иностранной фирмой. А затем он намеревался купить путевки в зарубежный тур: такая красивая, умная и верная жена, как Лиза, заслужила это.

— К обеду не жди,— сказал он, уходя из дома.— Принимаю гостей из Германии. Зато вечером я буду с сюрпризом, который тебе, наверняка, понравится.

Он заметил, как загорелись зеленоватые глаза Лизы, и посчитал это хорошим знаком: в такие времена она становилась безумной от любви и страсти.

День у Вадима сложился удачно. Выгодный договор был подписан, билеты в заграничный тур приобретены, и он очень спешил домой, чтобы как можно раньше сделать Лизе царский подарок. Но ему предстояло завершить еще одно дело: заехать на дачу к отцу, рассказать, как Лиза его любит и предупредить, чтобы он больше не появлялся в их с Лизой жизни.

Вадим повернул автомобиль на проселочную дорогу, ведущую к даче отца. Он хотел проскочить ее, как вдруг на опушке леса заметил целующуюся пару. Что-то неуловимо знакомое показалось ему в этих людях. Сердце неприятно кольнуло, и оно заныло, будто предчувствуя беду. Бизнесмен притормозил автомобиль, а затем и вовсе остановил его. Сомнений не было: обнимались и целовались отец и Лиза.

— Что же вы делаете?! — крикнул он, не выходя из машины.— Лиза, где любовь, в которой мне клялась?! Я купил тебе дорогущий тур на Канары!

Девушка, не оборачиваясь, проговорила:

— Лучше купи собаку: это единственный способ приобрести любовь за деньги.

Вадим нервно сглотнул горькую слюну, выхватил из кармана заграничные путевки и разорвал их в клочья. Затем выбросил все это в окно машины и резко нажал на педаль газа. Иномарка взвыла, почти став на дыбы, а затем понесла неудачливого хозяина прочь от места, где он в один миг потерял и отца, и жену.

А дачный поселок продолжал жить летней жизнью, полной внезапной страсти, быстрых любовных романов и душераздирающих интриг. Здесь было все, что бывает в обычной жизни людей. Только зарождалось и происходило это весело, непринужденно и легкомысленно. Здесь любящие пары жили настоящим, ибо о будущем известно только одно: хочешь насмешить Господа Бога — расскажи ему о своих планах.

Тамара Белицкая*
(г. Тула)

ГАВРОШ

Таня вышла из подъезда и сразу увидела его — маленького, приблудного щенка коричнево-желтого окраса. Он лежал возле сарая и смотрел на мир грустными глазами обиженного ребенка. Она подошла ближе и заметила на лапе и шее бурые пятна крови.

— Бедненький! — прошептала она, присела на корточки и притронулась к лапе. Щенок взвизгнул, попытался вскочить, но не смог и как-то виновато взглянул на нее. Его беззащитность и покорность тронули Таню.

— Бедненький! — повторила она и взглянула на часы. Времени было в обрез. Их офисный автобус за углом уже загружал в свой безразмерный чрев, спешащих на трудовую вахту сотрудников.

«Что же с тобой делать?» — подумала она и осторожно, боясь опять причинить боль, погладила его. Почувствовав ласку, щенок повернул голову и лизнул ее руку.

— Придется потерпеть до вечера, малыш! — она встала — Лежи тихо и жди меня! — и сделав несколько шагов, обернулась. Щенок смотрел ей вслед с доверием и надеждой...

Придя в офис, Таня прежде всего поискала глазами Вадима, к которому втайне питала недвусмысленные чувства. Она знала, что он заядлый собачник и очень гордится своим молодым сенбернаром. Тот уже был за столом и включал компьютер.

— Вадик! — обратилась она к нему — Мне очень нужна твоя помощь. Найдется полчасика после работы?

— А в чем, собственно, дело? — не отрываясь от экрана спросил Вадим.

— Понимаешь, — ей очень хотелось, чтобы он взглянул на нее — в нашем дворе лежит раненый щенок. Давай ему поможем, я одна не справлюсь.

Это известие действительно оторвало его от компьютера и заставило посмотреть на нее.

— А какой он породы? — заинтересованно спросил он, но Таня запротестовала:

— Да какая разница? Он весь в крови, понимаешь?

Вадим кивнул:

— Хорошо, после работы подходи к моей машине. Ты хоть знаешь, как она выглядит?

— Не вопрос! — усмехнулась она потому, что знала не только машину, но и тех счастливиц, которых он отвозил после работы. «Куда они направляются?» — вздыхала она каждый раз — И чем будут заниматься?» Здесь ее мысли разбегались в разные стороны, и она, с тоской посмотрев им вслед, покорно следовала к своему автобусу...

---

* Наш постоянный автор.

Но сегодня этой счастливицей была она сама, и поэтому гордо прошествовала к машине, стоявшей за торцом здания.

Когда они въехали во двор, ее взгляд сразу выхватил сжавшееся в клубочек неподвижное тельце щенка. Почти на ходу она выскочила из машины и подбежала к нему. Щенок приоткрыл один глаз и слабо вильнул хвостом. Подошедший Вадим наклонился над ним и поцокал языком:

— Нет, мы с ним не справимся. Здесь нужен ветеринар.

— Так в чем проблема? — воскликнула Таня — Поехали!

Вадим принес из машины брезент, и они бережно уложили на него щенка, который слабо скулил и повизгивал.

Внимательно осмотрев пациента, ветеринар покачал головой:

— Не знаю, смогу ли я помочь? У него перекушены горло и лапа, и он потерял много крови. Наверное, драка была нешуточной!

— Но он же такой маленький! С кем же он мог драться? — воскликнула Таня — Доктор, миленький, помогите ему!

— Сделаю, что смогу! Оставьте его до завтра.

Они вышли на улицу, и Вадим, взглянув на взволнованное лицо Тани, сказал:

— Да не переживай ты так! Дворняжки, знаешь, какие выносливые? Тем более этот, дворовый!

По дороге он спросил:

— Хочешь посмотреть моего Нептуна?

Таня радостно закивала головой, хотя дело тут было совсем не в Нептуне...

Когда Вадим открыл дверь своей квартиры, откуда-то из дальнего угла раздалось цоканье когтей по паркету, и на них надвинулось что-то большое и лохматое.

— Ой! — воскликнула Таня и спряталась за спину Вадима.

Он засмеялся:

— Не бойся! Он хоть и большой, но не страшный! — и потрепал его по холке.

Потом они пошли его прогуливать и как-то быстро разговорились. Слова просто сами выскакивали из уст без напряжения и пауз. Они спорили, соглашались, смеялись, и время пролетело так незаметно, что только подступившая темнота вернула их к действительности. Он отвез ее домой и предупредил:

— Завтра поедем за щенком, не забыла?

Весь следующий день она была во власти этого ожидания, бросая украдкой взгляд в сторону его рабочего места. Минут за 15 до звонка отключила компьютер, прибрала на столе и привела себя в порядок. Потом подошла к нему:

— Едем?

В приемной ветеринара им прошлось немного подождать, т.к. тот вынимал занозу из лапы рыжего эрдельтерьера под громкие причитания его хозяйки.

Когда они вошли в кабинет, то не сразу узнали своего подопечного в забинтованном кулечке. Но глаза щенка были открыты, и он радостно приветствовал их активным вилянием хвоста.

— Ну! — сказал ветеринар — Ваш щенок — храбрый малыш! Он мужественно перенес довольно трудную операцию, но главное — быстро пришел в себя и начал поправляться. Дня через 2—3 можете забрать его.

На обратном пути Вадим спросил:

— Ты возьмешь его к себе?

— Конечно! — воскликнула Таня — Вот только я совсем не умею обращаться с собаками.

— Ну, в первое время я тебе помогу, а там привыкнешь.

В порыве благодарности Таня схватила его за руку.

— Тише, тише! — засмеялся он — Не создавай аварийных ситуаций на дороге!

Потом сам взял ее руку и поцеловал.

На 3-тий день они привезли щенка домой. Тот медленно обошел небольшую танину квартирку, затем взобрался на кресло и свернулся клубочком.

— Все! — развел руками Вадим — Почувствовал себя дома!

Таня радостно засмеялась и предложила:

— Давай придумаем ему кличку! Они перебрали несколько имен, и вдруг она захлопала в ладоши:

— Как же я раньше не додумалась? Это же настоящий Гаврош! Такой же мужественный и храбрый, как тот французский мальчик!

Вадим посмотрел на нее долгим взглядом, как будто впервые увидел:

— Я и не знал, что ты такая!

— Какая? — удивленно спросила Таня и почувствовала, что краснеет.

— Добрая, самоотверженная и...— он сделал паузу,— красивая! — взял ее за руку и вдруг порывисто притянул к себе. Они так увлеклись собой, что не заметили, как возле их ног очутился Гаврош и залился веселым лаем.

ВАЛЬС ШОПЕНА

Он играл вальс Шопена. Его сильные, крепкие пальцы легко и свободно метались по клавишам, издавая звуки, от которых у меня замирало сердце. В них было все — светлая грусть, радость любви и глубокая задумчивость. Я стояла возле рояля, смотрела на его вдохновенное и прекрасное лицо, и была не в силах отойти. Мне казалось, что мой уход сразу что-то изменит, и звуки станут пустыми и поверхностными, как та жизнь, которая была до него. Мы встретились случайно, в городском автобусе. Кто-то за моей спиной включил портативный приемник, и вдруг вместо привычных выкриков, хрипов и оглушительного барабанного боя полились тихие, божественные звуки. Но в их тишине не было покоя, они волновали и тревожили. Я оглянулась и увидела молодого человека с приятным, приветливым лицом. Его синие глаза скользнули по мне и метнулись в сторону. Потом возвратились и, подобно стрелам, вонзились в мое сердце. Меня неудержимо, как щепку в бурном потоке воды, повлекло к этому мужчине. Так начиналась наша любовь. Мы понеслись друг к другу, как воздушные шарики к небу! И счастье накрыло нас своим божественным крылом!..

...Он играл вальс Шопена, а передо мной мелькали кадры недавней жизни. Как-то я прибежала на свидание, и тут пошел дождь. Мы спрятались под крышу ларька, но водные струи пробивали ее насквозь. Он взял ладонями мое мокрое лицо и покрыл поцелуями, а я прижалась к его куртке, и замерла от счастья... С ним мне всегда хотелось быть покорной, беззащитной, полностью отдаваясь в его ласковые руки. Он обнимал меня и шептал какие-то немыслимые, неправдоподобные слова, а мне хотелось слушать и слушать, и никогда не разжимать своих рук, обвивавших его шею...

...А потом он уехал на войну. На эту проклятую, никому не нужную войну. А я купила кассету с вальсами Шопена, и все свободное время слушала тот, наш вальс. И он возвращал меня к нему, к нашим счастливым дням. И мне было легче переносить эту ужасную, затянувшуюся разлуку.

Он вернулся, но долго не хотел прикасаться к роялю. А по ночам выкрикивал какие-то бессвязные приказы, или вскакивал, размахивая руками и оглашая ночную тьму грубыми ругательствами. А как-то увидев, что я ставлю кассету с Шопеновскими вальсами, резким движением выхватил ее из моих рук и разломал на части. И я поняла, что та жизнь, где царили счастье, понимание и доверие, где вальс Шопена был талисманом нашей любви, та жизнь кончилась, и началась другая, еще неведо-

мая, но уже нелюбимая мною. К нам с неотвратимой неизбежностью подкрадывались отчуждение и разлука.

Он ушел от меня, и словно канул в вечность. Молчал телефон, дверной колокольчик не заливался веселым перезвоном. В безумной тоске и пустоте тянулись дни. Трещина нашей любви ширилась и превращалась в овраг, через который, еще мгновенье, и уже не сцепить рук...

Но вот однажды... Однажды я подошла к квартире и замерла. Из-за двери глухо просачивались какие-то звуки. Но я узнала их сразу, и мое бедное сердце вздрогнуло, бешено заколотилось и понеслось куда-то вниз. Трясущимися руками, я открыла дверь, и потонула в звуках Шопеновского вальса.

Они звали меня, каялись, молили о прощении, обещали, дарили надежду и любовь. И, поверив им, я подошла, положила руки ему на плечи и заплакала. А он играл и играл, наполняя пространство звуками, а душу радостью. И когда растаял в воздухе последний звук, он обнял меня и прошептал:

— Прости!

И я поверила, что все грустное, тяжелое, обидное так же растаяло в нашей жизни, как этот последний звук вальса Шопена...

РУССКАЯ ДУША

Нора вошла в купе последней. Там уже находились супружеская пара весьма почтенного возраста и молодой парень. Она поздоровалась и присела на краешек своего места. Как только поезд тронулся, все сразу засуетились. Парень полез наверх, лег прямо на голую полку, подложив под голову куртку. Супруги вынули из сумок припасенную еду и приступили к трапезе.

— Присоединяйтесь,— радушно пригласила Нору женщина, но та отказалась и, чтобы им не мешать, вышла из купе. Поезд уже набрал скорость и легко бежал, чуть постукивая на стыках рельс. За окном была кромешная тьма, лишь изредка прорезаемая тусклым светом придорожных огней. И сколько она ни всматривалась, ничего, кроме собственного отражения в стекле, не видела. Постояв еще немного, Нора вернулась в купе. Женщина уже лежала на нижней полке, отвернувшись к стене, а старик сидел за столиком и попивал вино из пластикового стаканчика.

— Не хотите ли составить компанию? — обратился он к Норе и полез в сумку за вторым стаканчиком. Но она отказалась и стала возиться с постельным бельем. Потом пошла переодеваться и еще долго стояла в коридоре в надежде на то, что сосед за это время уляжется и заснет. Однако, тихонько откатив дверь, она увидела, что он сидит в прежней позе, устремив взор в черный квадрат окна:

— Мчится, мчится,— тихо бормотал он,— вот так и жизнь промчалась. А чего видел? — он тяжело вздохнул.— Одно горе, одно горе...

Она хотела как-то прореагировать, но поняла, что он обращается не к ней, а к самому себе, к своей душе. И этот душевный выплеск заставил ее с интересом взглянуть на него. Поймав ее взгляд, он словно очнулся:

— А, соседка! Посиди со мной, уважь старика.

Она подсела к столику и сочувственно спросила:

— У вас что-нибудь случилось?

Видимо, услышав ее акцент, он удивился:

— Ты что, не из русских?

— Я француженка, но у меня мама русская. Вот еду навещать свою русскую родню.— И чтобы прекратить дальнейшие расспросы, повторила:

— Так у вас что-то случилось?

— Случилось? — переспросил он и помолчал. Потом наполнил вином оба стаканчика и один придвинул к ней.— Так-то и беседа пойдет лучше. Выпьем, дочка, за хороших людей.

Она пригубила вино и ожидающе посмотрела на него.

— Ну, и глаза у тебя, дочка, чистый янтарь! — он внимательно, с каким-то особым удовольствием смотрел на то, как в ее карих глазах отражался отсвет боковой лампочки.

— Вот и у нее такие же были! — неожиданно сказал он, допил вино и задумался. Она не решалась заговорить, боясь нарушить этот провал в себя. Женщина лежала не шевелясь, тихо посапывал наверху парень, а секунды уплывали в вечность...

И вдруг его словно прорвало. Он быстро зашептал:

— Знаешь, дочка, я ведь сидел. 10 лет маялся!

— Да, я слышала о сталинских репрессиях,— тоже шепотом отозвалась она. Но он не дал ей договорить и почти выкрикнул:

— Нет! Я не политический! Я сидел за убийство!

Ее рука дрогнула, расплескивая вино. Не давая ей опомниться, он быстро заговорил:

— У нас была любовь необыкновенная, бешенная! Я ночами простаивал под ее окнами, лишь бы увидеть хотя бы ее тень! Ах, какая любовь!...— он схватился за голову и застонал: — О такой я только в книжках читал, да и то не во всех...— быстрым движением он долил вина, выпил и словно стряхнул с себя наваждение: — Откуда он взялся, до сих пор не знаю. Эдакий красавчик-моряк. Ну, там форма, кортик, слова всякие. И закружил мою Настеньку!..— он снова выпил и посмотрел на свет бутылку: — Эх, жаль, вино кончилось...

— И вы убили его за это? — дрожащим шепотом спросила Нора.

Он усмехнулся:

— Нет, тогда не убил. Себя чуть не порешил, из петли вынули.

— Они поженились?

— Да, сыграли свадьбу, все честь по чести. А меня вскоре забрали в армию. Мать обрадовалась, думала, забуду ее там. Я и сам на это надеялся, даже закрутил любовь с официанткой из солдатской столовой. Да где там? Разве то была любовь? Одно баловство, чтобы ту забыть...

Он снова замолчал, а она терпеливо ждала, увлеченная этой горькой историей.

— Ну, так вот — вернулся он к рассказу — Пришел я из армии, устроился на работу, а в голове так и сверлит мысль — узнать бы, как она там живет, счастлива ли? Тянуло к ней, как магнитом. И вот однажды, на свое несчастье, я как-то встретил ее и, вы не поверите, едва узнал. Как она изменилась! Похудела, лицо какое-то землистое, а под глазом синяк. Когда меня увидела, вскрикнула и побежала в другую сторону. Я догнал, а она лицо закрывает и испуганно шепчет: «Уходи, уходи!» Ну, тут уж я разозлился: «Никуда, говорю, не уйду, пока все про жизнь свою не расскажешь». Она в слезы: «Погибели моей хочешь?» Долго мы препирались, но все-таки договорились встретиться завтра днем в парке. Вот там она мне все и рассказала. Морячок-то оказался подонком, изменял направо-налево, деньги пропивал, но главное — бил ее часто. Она рассказывает, а сама плачет и руки мои целует: «Прости меня, Пашенька, погубила я свою жизнь». А меня такой гнев распирает, сейчас бы побежал да убил его: «Бросай,— говорю,— эту собачью жизнь, переезжай ко мне. Я ведь еще больше тебя люблю!» Но она только в ужасе замахала руками и убежала... Прошло несколько дней. И вот однажды столкнулись мы с ним на улице нос к носу. Я схватил его за рукав: «Эй, морячок! Ты что делаешь-то? Зачем Настену обижаешь?» Он вырвал руку: «А тебе какое дело? Или старая любовь не ржавеет?» — и столько злобы было в его глазах, что я испугался за нее: «Тронь только ее паль-

цем!» — закричал я и опять схватил его за рукав. «А то что? Убьешь меня?» — он развернулся и двинул мне в челюсть...— старик вскинул голову, и Нора даже испугалась его горящего взгляда.— Вот тут-то все и произошло. Мы сцепились и, колотя друг друга руками и ногами, покатились по земле. И я остановился только тогда, когда почувствовал в своих руках его обмякшее тело...

Нора в ужасе закрыла глаза. Словно оправдываясь, старик пояснил:

— Я его порешил не потому, что он увел у меня эту женщину, а потому, что не сделал ее счастливой.

Одними глазами Нора показала на его жену:

— Это она?

Он покачал головой и поправил на ней одеяло:

— Нет, это моя спасительница. Она подобрала меня, когда я вышел из лагеря умирать от туберкулеза.— И столько было нежности в его словах, что у Норы выступили слезы...

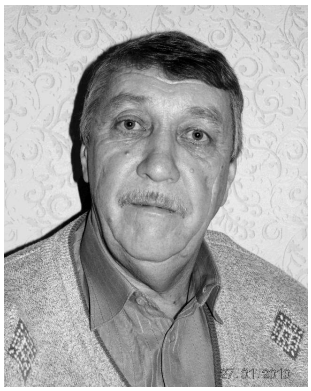
Старик встал и совсем другим тоном произнес:

— Однако, пора и на боковую. Спасибо за компанию.— И быстро, словно стыдясь своей откровенности, полез на вторую полку.

А она еще долго не могла заснуть, прокручивая в голове эту историю. Поистине, загадочна русская душа! Убить из ревности, в момент, когда уводят любимую женщину — это еще можно понять. Но убить, защищая чужую жену, убить за то, что тот не сделал ее счастливой, принести себя в жертву — этого она понять не могла. «Однако какая любовь! Позавидовать можно!» — грустно подумала Нора, вспомнив свою скучную жизнь с Франсуа.— И что вообще это такое — любовь? И что она делает с людьми? И зачем она это делает?» — Но найти ответ на этот вечный вопрос она была не в силах.

Огромные тени набегали на окна. Дробно стучали колеса, вагон подрагивал и скрипел, и сон неодолимо наваливался на нее, постепенно вытесняя из головы все мысли, рассуждения и эту странную историю про необыкновенную любовь. Она заснула и не слышала, когда и где сошла супружеская пара.

Сергей Лебедев
(г. Тольятти)



ПОЕЗДКА

Рассказ «Поездка» написан мной по воспоминаниям реальных участников описываемых событий во время Великой Отечественной войны. Пишу в основном стихи, но иногда случаются и прозаические произведения. В 2009 году напечатал самиздатом повесть «Мой отец — офицер», посвященную 90-летию со дня рождения своего отца.

Отец болел еще с весны, и Николай, зная про его неизлечимую болезнь, был готов к самому худшему. Но все равно телеграмма застала его врасплох. Это было настолько неожиданно, что известие ошарашило и расстроило его.

На работе отпустили без разговоров, и, быстро собравшись, он уехал. Уехал провожать в последний путь отца, еще не очень старого, поэтому всю дорогу Николаю не верилось, что отца не стало.

Николай не любил похорон. Собственно, не сами похороны, а ту атмосферу, которая складывается вокруг них. Зачастую приходят люди, которые в силу сложившегося жизненного уклада, давно не видели умершего, а может, просто его забыли. Но приходят по слухам, которые даже в большом селе распространяются быстро, словно утренний туман.

Люди приходят поговорить об умершем. Хорошо поговорить. Ведь все умершие были только хорошими людьми. Хотя об Алексее можно было, действительно, вспомнить и сказать только хорошее.

И как всегда бывает, разговор часто переходит на другое, на, так сказать, отвлеченную тему. Люди стараются не встречаться друг с другом глазами, в воздухе висит скованность, как будто все присутствующие на похоронах считают себя виноватыми перед умершим.

Николай приехал за два часа до выноса покойного. Народу собралось действительно много, и большинство людей были ему незнакомы. Мужчины без конца курили, вели негромкие, отрывистые разговоры. Женщины толпились в избе. Умершего отца отпевали.

Николай, оставив дорожную сумку в сенях, взошел в избу. Гроб с телом отца покоился на двух табуретках. Взглянул на них Николай, и ему сразу подумалось, что их смастерил сам отец. В те далекие послевоенные годы, когда они только переехали в свой, построенный руками же Алексея дом.

Отец лежал головой в угол, под образами. Какая-то старушка монотонно бубнила, читая по книге, лежащей у нее на коленях. Отпевание подходило к концу. Прощаясь с отцом, Николай посидел рядом с матерью у него в изголовье. И все не мог поверить тому, что лежащий в гробу сухонький, с обтянутым кожей черепом старик — это его отец.

Николай вышел из душной избы. Отца вынесли, поставили гроб на те же табу-

ретки около дома. Мать плакала. Соседские парни подняли гроб на полотенца и понесли его по улице. Николай с матерью шли за гробом. Рядом соседская девчушка, внучка бабы Нюры, несла на сшитой матерью подушечке награды отца. Медаль «За победу над Германией», полученную отцом в сорок шестом году, и медаль «За трудовое отличие», которую отец получил уже в конце сороковых годов за ударный труд на серной шахте.

Как прошли сами похороны, Николай помнил бессвязно. К могиле, вырытой на старом сельском кладбище, пробирались с трудом между оградами и крестами.

На поминки собрались все деревенские старики и старухи. Обедали в избе. Сначала столы накрыли для мужчин, потом для женщин. Мужчины вышли на улицу и расположились на лежащих около забора больших бревнах. После выпитой поминальной чарки разговоры среди стариков пошли о войне.

Николай знал, что отец провоевал полгода на Ленинградском фронте. Был мобилизован осенью сорок первого, а весной сорок второго вернулся домой. Открылась старая язва желудка и его демобилизовали. Почти все собравшиеся на похороны были сверстниками Алексея. Все прошли тяжелыми дорогами Отечественной. Кому-то довелось закончить ее в сорок третьем и вернуться домой после тяжелых ранений. А кто-то тянул все тяготы до мая сорок пятого. Но все из собравшихся стариков до сих пор помнили разорванную войной юность, и воочию ощущали ее на своих незаживающих ранах.

Когда Николай подошел к собравшимся после поминок старикам, все молча слушали Михаила Киселева, соседского мужика. Это был крепкий, широкоскулый, улыбчивый старик. Он оказался хорошим рассказчиком, и потому все сидели, затаив дыхание. Михаил почти всю войну провел на оккупированной территории, был в плену, в концлагере.

«Мобилизовали меня весной сорок первого, как резервиста. Везли сначала в Москву, там состав простоял сутки. Из теплушек не выпускали, часовые стояли около каждого вагона.

Из Москвы попали мы в Западную Белоруссию. На строительство укрепрайона. Назначили меня, как сержанта, командиром отделения. Водил я своих людей каждый день на рытье окопов. Из всего оружия — винтовка трехлинейка с пятью патронами у меня, а остальные вооружены лопатами.

Здесь и застала меня война. Командир роты раздал всем винтовки, но без патронов. Их просто не было. Построил в колонну и повел роту на восток. Шли лесами. Видно, по дорогам немцы двигались. Прошло с неделю нашего плутания по лесам. Командир разделил роту на группы и велел этими группами пробираться к своим.

Я со своим отделением таких же деревенских парней, как и я, неделю еще после этого блукал по лесу. Ночью шли вдоль дорог, а днем отсыпались, потом к вечеру снова шли. Жрать нечего, одни ягоды, да трава лесная. Пять патронов есть, но стрелять боялись, хотя пару раз видели зайца.

Помню, подошли мы к деревне лесом. Остановились и смотрим на улицу из кустов. Вроде движения и шума никакого. Решили попытать счастья, сходить в деревню. Но незаметно в нее не зайти: вокруг картофельное поле, метров на сто открытое пространство. Я, как старший, взял винтовку, приказал всем оставаться на месте. И по полю пошел в деревню.

Только я дошел до середины картофельного поля — слышу шум моторов немецкого самолета. Они тогда позволяли себе такие вольности — вылетать на охоту за солдатами Красной Армии, которые в огромном количестве бродили по оккупированной территории. Наши самолеты почти не летали, вот они и охотились за людьми. Этот, видно, меня и приметил издалека.

Бежать назад — не успею до леса, вперед — не успею до деревни. Вижу на поле

ложбинка, я упал на землю, да ползком в нее. Пристроился на земле так, чтобы из самолета меня не видно было. Лег на тот скат, который поднимался в сторону летящего самолета. Лежу ни жив, ни мертв.

Самолет, а это был «мессершмитт», приближается. Братцы, этот вой я не забуду до конца жизни. Звук, как будто он по мне едет, а тут еще пулемет затакал. По противоположному скату фонтаны земли, пыль поднялась. Пролетел и заходит с противоположной стороны, а я на другой скат перепрыгнул, и вжался до последней пуговицы в землю. Снова земля позади меня ходуном заходила от пулеметной очереди. Натерпелся я страху.

Пять раз этот фашист заходил на меня. Приближается в шестой. Огонь не открывает. Разобрало меня любопытство, да и надоело лежать мордой в землю, поднимаю осторожно голову, дай, думаю, посмотрю, чего он не стреляет. А самолет летит так низко, что я вижу смеющееся лицо немца. А он мне большим пальцем правой руки показывает вниз, на землю. Потом открывает фонарь кабины и что-то бросает. Как мне показалось, прямо в меня. Ну, думаю, вот она, смерть моя пришла. Никак бомбой решил меня прикончить. Что-то стукнулось о землю, метрах в пяти-семи. «Мессершмитт» улетел в сторону дороги и больше не возвращался.

Лежу и жду, когда взрыв будет. Минуты через три любопытство мое перебороло страх, подползаю к тому месту, где «бомба» упала, а там сверток в коричневой, вощеной бумаге. Осторожно беру, разворачиваю. В нем оказалась четвертинка водки и маленькая буханка ржаного хлеба. Наградил, значит, немец меня за храбрость. Войску моему, думаю, этого провианта все равно не хватит. На семь человек делить, только размазывать. Выпил я водку, зажевал хлебом и пошел в деревню. Разжились мы там ведром картошки, да караваем хлеба. Двинулись дальше на восток.

Однажды утром я проснулся, почувствовав холод. Костер потух, и никого рядом со мной нет, разбежались. Прихватив с собой и картошку, и остатки хлеба.

К вечеру вернулся снова в деревню. Немцев нет. Ну, я и попросился на ночлег к хозяину, который нас картошкой снабдил. Проснулся от того, что на улице был шум от множества двигавшихся людей, от стука повозок, гудения машин. Ну, думаю, наша часть отступает. Быстро одеваюсь, что бы успеть присоединиться к ним. Уже подходил к двери, когда она открылась, и вижу, что вместе с хозяином входит немец с автоматом. Направил он на меня свой «шмайсер» и что-то кричит. Понял я, что он меня в плен берет. Руки, конечно, вверх поднимаю, и иду впереди немца. Отвел он меня на окраину деревни, сдал другим немецким солдатам, которые караулили еще шестерых красноармейцев. Мой немец получил от них какую-то бумажку и ушел.

Нас построили гуськом и повели. Километров через пять подвели к небольшому кирпичному сараю. Уж не знаю, что в нем раньше было, но для нашего брата он подошел очень удачно.

В сарае оказалось еще человек десять наших красноармейцев. И хоть было в сарае полутемно, но разглядел я, что у одного пленного на черных артиллерийских петлицах остались следы от двух кубарей. Я-то сержантские треугольники тоже сбросил, еще когда со своей ротой шел на восток. Подсел к нему. Разговорились. Узнав, что я сержант, он сразу предложил бежать. И показал мне, что найденным в сарае гвоздем он уже почти расшатал в стене кирпич. Я помог ему это дело закончить. Кирпич мы вытащили.

К ночи немцы ушли ночевать в дом, а около сарая остался один часовой с автоматом. Стало совсем темно, немецкий гомон за сараем затих. Лейтенант и говорит, что надо нам сделать так, что бы часовой вошел в сарай. Мы устроили шум, гвалт, как будто сцепились друг с другом. Немец начал стучать в дверь. Часовой оказался совсем неопытным, клюнул на нашу уловку и открыл выход. Осветил фонарем, поднял автомат, но в это время получил кирпичом по башке. И сразу же лейтенант вы-

рвал у него из рук автомат. Потом еще раз ударил автоматом, остальные навалились и добили кирпичом.

Ушли в поле, ночевали в копнах сена, кормились, чем придется. Добрались до какого-то села. Немцев почему-то не оказалось, а были наши, десятка два красноармейцев с офицером. Оружие только у него — пистолет ТТ. Местные мужики нас предупредили, что леса вокруг прочесывают немецкие автоматчики с собаками. Мы поняли, что это ищут нас. Но так устали, что решили здесь переночевать.

А ночью неожиданно село заняла гитлеровская часть. Услышав шум, лейтенант успел сунуть автомат под сено, но бежать было бесполезно, немцев было столько, что побег был бы равносилен смерти.

Нас, безоружных, утром согнали на сельскую площадь. Бывший среди немцев переводчик сказал, что пять дней назад в соседнем районе сбежала группа военнопленных, и не просто сбежала, а убила солдата доблестного вермахта. И если мы не выдадим тех, кто это сделал, то каждый четвертый будет расстрелян. Строй стоял молча, опустив головы. Минут пять прошло, фельдфебель отсчитал каждого четвертого. Их вывели из строя и перед нами расстреляли.

Построили в колонну по четыре и погнали на запад. Вскоре присоединили к другой группе военнопленных, потом добавлялись еще и еще. Собрали человек сто. Охраняло нас всего пять автоматчиков. В то время немцы были очень наглые и совсем непуганые. Вот и рассчитывали только на свою силу, а нас в расчет не брали. Не нюхали они еще нашей мужицкой сноровки и хитрости.

Стоял знойный июль сорок первого года. Подвели нашу колонну к какой-то реке. Всех загнали на мост. С обеих сторон моста встали по два автоматчика, а пятый отсчитывает десять человек и выводит их к воде. Я попал в одну группу со своим попутчиком лейтенантом. Спустились к воде, пьем. Вдруг он толкает меня в бок и глазами на воду показывает. А прямо перед нами в реке граната лежит. Целехонькая. Лейтенант загребает ладонями воду, как ковшом, а сам незаметно гранату подхватил и за гимнастерку спрятал.

Напились мы все воды, стоим на мосту, а немцев видно тоже жара разморила. Уселись они вчетвером в тени играть в карты, а тот, что пить водил, продолжает за нами наблюдать. Лейтенант негромко говорит, но так, чтобы его слышали красноармейцы. Я, говорит, сейчас брошу гранату в четырех картежников, а вы врассыпную и кто куда. Сам-то я поближе стараюсь быть к лейтенанту, понял, что он парень боевой, с ним не пропадешь. Но тут что-то началось среди красноармейцев непонятное. Почти, как у нас в колхозе на собрании. Одни кричат, что бросать нельзя, куда пойдем? Что делать будем? Другие торопят лейтенанта, чтобы быстрее ходу сделать, пока нас снова не повели. Третьи предложили голосование устроить, что бы значит большинством принять решение.

Лейтенант, конечно, послал всех по матери, бросил гранату. После взрыва кинулись мы бежать. Я не отстаю от него. Сзади слышаться крики, выстрелы. Так второй раз удалось бежать мне из плена.

Но недолго мы на свободе были. И теперь уж основательно попали в плен. Снова по глупости своей. Уснули в стогу, а полевая жандармерия как будто специально шла по нашему следу.

Бредем бескрайной колонной, которая растянулась почти на целый километр. Охрану немцы основательную организовали. С овчарками. Шли мы своим нерадостным, долгим путем и высматривали то, что росло вблизи дороги. И картошку, и кукурузу, и пшеницу — все хватали и рассовывали по карманам. Крохи этого оставшегося колхозного добра спасли нас от голодной смерти.

На протяжении всего долгого пути нашему конвою на машинах подвозили обеды. Фашисты садились есть, а мы стояли на дороге и ждали, когда они «нажрутся».

А они насытившись, устраивали веселый отдых. Оставшиеся куски хлеба бросали в колонну, пленные ловили, отбирали друг у друга под гогот веселившихся немцев. Некоторые красноармейцы даже упрашивали тех, кто поймал, что бы дали только понюхать корочку хлеба. Страшнее голодной смерти нет ничего — хуже всякой войны.

Через год я совсем умирал. Отправили вроде как в госпиталь. А на самом деле фашисты заперли нас в холодном сарае, где четверо суток лежали мы без еды и питья. Там нас нашли местные женщины. Оказался я в примаках. Привезли меня в небольшую деревеньку, но женщина эта долго одна кормить меня не могла, тогда я стал ходить есть то к одному, то на другой день к другому. Так прожил до осени сорок третьего. А когда освободили Белоруссию, меня отправили уже в наш, военный госпиталь. Чудо меня спасло от магаданских лагерей, удалось мне в своих мытарствах сохранить красноармейскую книжку. Это и спасло.

Уже в конце войны попал я на фронт, закончил войну в Берлине».

Николай сходил в дом, вынес бутылку водки, стаканы. Предложил выпить еще раз за умершего отца и за всех односельчан, оставшихся на полях войны.

Выпили. Посидели молча. Первым нарушил молчание Павел Соловьев. Его веселый нрав помог преодолеть тягостное молчание. Он, шутя, начал рассказ о себе.

«Дослужился я до самого высокого звания в роте, до звания старшины. Служу, а война уже три года идет. У моего старшего брата Василия, который воевал на Волховском фронте, к тому времени вся грудь была в орденах, а у меня только значок Ворошиловского стрелка, да буква «Т» на погонах. Готовил я все эти три года пулеметчиков в Ярославской школе. Только и знаю, что курсантов гонять.

Лежу как-то после отбоя в казарме, что-то не спалось: вспомнил жену Настю, детишек своих — Витюху да Нину. Думаю, война идет к концу, а вернусь домой, они меня и спросят: «А как ты, батя, нас защищал, воевал ли с немцем?» Что отвечу, что расскажу им? Ну, и начал писать рапорта с просьбой отправить меня на фронт. Почти полгода отказы мне шли. Но в феврале сорок пятого получаю приказ — и на передовую!

Попал я в самый разгар наступления в Венгрии. Но перед этим определили нашу роту пулеметчиков на тыловой армейский рубеж, потому что ждали контрнаступления немцев. И оно началось шестого марта. Дней через пять вышли они на наши рубежи, прорвав главную оборону. Не пришлось нам участвовать в боях в те дни, контрнаступление немцев было остановлено артиллерией.

А на рассвет шестнадцатого марта было назначено наше наступление. Помню, что по утрам в те дни стояли густые туманы. Людей, машины трудно было различить на расстоянии нескольких метров. Самолеты не могли взлететь, такой плотный был туман. Все ждали сигналов. Уже во второй половине дня увидели сигнальную ракету, и началась артиллеристская подготовка. Только она закончилась — мы бросились вперед. Сначала бежали резво, огня немцы не открывали, и мы даже не могли понять, где они.

Заскочила наша рота в какой-то овраг, по которому тут же ударила немецкая артиллерия. И огонь открыли шрапнелью. Над головами разрывы и нас накрывает свинцовым дождем. Ничего не поймем: куда же бежать? Люди вокруг стали погибать один за другим. Вдруг я почувствовал, что по голове, как палкой ударили. Упал без сознания. Когда очнулся, мне голову перевязали и снова вперед. На ногах стою, бежать и стрелять тоже могу.

Ночью, когда мы заняли немецкие позиции, чувствую, что голова гудит, сильная боль появилась. Вытерпел до утра и снова в бой. Вроде полегчало. На следующую ночь опять невмоготу стало. И только на третий день санинструктор отправил меня в медсанбат.

Хирург осмотрел и давай ругать всякими словами. Я, говорит, удивляюсь, как это ты до сих пор ходишь. А вообще, скажи спасибо своей судьбе, что она тебя в живых оставила. На один сантиметр пониже — и не было бы тебя, старшина, на этом свете. Ведь он, когда снял повязку, увидел, что осколок-то у меня почти из виска торчит. И сразу на операционный стол. Жаль, что я не запомнил ни его фамилии, ни звания. Череп мой долго долбил, но осколок вытащил.

Теперь яма на голове, хоть три пальца в нее клади, все поместятся»,— и Павел показал на голове большое углубление.

Как всегда бывает после начала разговоров, вдруг кому-то еще хочется рассказать свое, поэтому все посмотрели на Ивана Лебедева немного с удивлением. Потому что, знали его, как немногословного, молчаливого старика. А тут и он разговорился.

«Помню, со мной на марше в сорок втором случай один произошел. Можно сказать, смешной случай. В начале марта еще морозы не отступали. Холодно. Идем мы па передовую. В строю меня так скрутило. В животе сплошное кручение с бурлением. Выскочил я из строя, и в кусты.

Сел, оправился. Голову поднимаю, а на меня фашист направил автомат, и оскал у него, как у волка. Глаза оловянные выпучил. Я как был без штанов, так и сел назад, в свое же. Смотрю на него и слова сказать не могу. Хана, думаю, пришла. Потом пригляделся, а немец-то мертвый! К березе ремнем пристегнут. И стоит, как живой с открытыми глазами. Поднялся я, и ходу от этого пугала к своим.

А войну я закончил в сорок пятом, в Восточной Пруссии. Кенигсберг не успел штурмовать, мы в него потом вошли. Наступление там мощное было. Наши «Катюши» такого жару давали. Немцам тошно становилось. Артиллеристы даже деревянные ящики со снарядов не снимали. Ставили реактивные снаряды на направляющие машин прямо с ящиками. Немцы так и кричали: «Ахтунг! Ахтунг! Рус Иван амбарами стреляет!» Снаряды летели со страшным гудом, рассыпая вокруг доски».

На деревенской улице стало смеркаться. Разговоры сами собой затихали. Мужики начали расходиться по домам. Еще раз выпили за всех не вернувшихся с войны в деревню земляков, и помянули Алексея.

Николай ехал домой. Из его головы не выходили рассказы односельчан-фронтовиков. Вспомнились скупые воспоминания отца, услышанные в детстве. Хотя отец, пробывший на передовой Ленинградского фронта почти полгода, мало рассказывал о войне. Но даже в этих немногих воспоминаниях чувствовалось, что и ему пришлось хлебнуть военного лиха. Однажды, он чуть не попал в немецкий плен вместе со всем полком, когда ночью, в неразберихе, немецкие диверсанты пытались повернуть полковую колонну в немецкий тыл. Случилось это тогда, когда они только-только выгрузились из эшелона, не получив даже оружия. Только решительность полковых офицеров помогла избежать тогда нелепой случайности.

Зная о войне только из рассказов, Николай с болью думал о том, сколько же пришлось пережить поколению его отца? Но оно выстояло, вытащило страну из того ада, в который ввергла ее война с Германией. А смог бы он и его поколение так же выстоять, случись что-нибудь подобное сейчас?

Мимо пролетали полустанки, переезды, огни придорожных деревень. За окнами заканчивался двадцатый век, век страданий и боли людской.